В. ЛОБАНОВ



СТОЛЕШНИКИ *ДЯДИ* ГИЛЯЯ



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

В. ЛОБАНОВ. СТОЛЕШНИКИ ДЯДИ ГИЛЯЯ


МР



В. М. Лобанов. 1883—1970.



В. ЛОБАНОВ

СТОЛЕШНИКИ дяди ГИЛЯЯ

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1972

8(069)
Л68

7-2-2

В. А. ГИЛЯРОВСКОМУ
И ЕГО СЕМЬЕ

Десятилетия, прожитые под одной кровлей, в тесном, каждодневном общении с замечательным москвичом Владимиром Алексеевичем Гиляровским, чутким, удивительно живым и темпераментным человеком, встречи с представителями русской культуры, события начала XX века, как, например, 1905 год,— все это не могло не запомниться и не оставить в душе сильнейших впечатлений.

Воспоминаниям тех дней и отданы страницы книги.

Книга Виктора Михайловича Лобанова, зятя В. А. Гиляровского, «Столешники дяди Гиляя» — это рассказ человека, наблюдавшего жизнь квартиры писателя и ее хозяина свыше тридцати лет, это воспоминания о явлениях и фактах, которые невозможно восстановить через документальные источники и которые уходят вместе с людьми, если они не записаны.

В. М. Лобанов — член-корреспондент Академии художеств СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, один из первых советских искусствоведов, автор ряда книг по истории русского и советского искусства («Живопись 1905 г.», «Художественные группировки», «Книжная графика Е. Е. Лансере», «Дом-музей В. М. Васнецова в Москве», «Виктор Васнецов в Москве», «Кануны» и др.).

Глубоко чтя память В. А. Гиляровского, В. М. Лобанов сохранил его творческое наследие. Ему и дочери писателя Надежде Владимировне читатели обязаны публикацией книг В. А. Гиляровского «Люди театра», «Москва газетная» и многих рассказов. Сохранил В. М. Лобанов и квартиру В. А. Гиляровского в том виде, какой ее знали А. М. Горький, А. Н. Толстой, В. В. Маяковский, М. Н. Ермолова, А. И. Южин, В. М. Васнецов, М. В. Нестеров и другие. Виктор Михайлович сумел сохранить и традиции квартиры дяди Гиляя. Все тридцать пять лет, прожитые им в Столешниках после В. А. Гиляровского (В. М. Лобанов скончался в 1970 г.), здесь продолжали бывать писа-

тели, актеры, художники и среди них К. Г. Паустовский, А. Н. Зуев, В. Г. Лидин, Василий Белов, Сергей Викулов, А. А. Яблочкина, В. Н. Пашенная, Павел Корин, Павел Кузнецов, М. К. Аникушин.

Поэт Александр Романов написал шутливое стихотворение «Столешникам дяди Гиляя, когда хозяином их был Виктор Михайлович Лобанов»:

Теперь-то я отлично знаю,
Что ничего отрадней нет,
Чем заглянуть на яркий свет
В квартиру дядюшки Гиляя.



Во второй половине прошлого века какой-то «военный чин» при поддержке московского Кредитного общества построил в Столешниковом переулке каменный дом. Строился дом обычным для того времени порядком. Сперва возводился первый этаж и закладывался в Кредитном обществе. На полученную ссуду воздвигался второй этаж. Такими же путями возникли, видимо, и последующие этажи.

Дом до настоящего времени капитально не перестраивался и в общих чертах сохранил свой прежний облик, планировку квартир.

Одну из квартир на третьем этаже с 1886 года занимала семья московского журналиста и писателя Владимира Алексеевича Гиляровского, который в 80-х годах приехал в Москву после своих многочисленных скитаний.

Квартира В. А. Гиляровского была похожа на многие тогдашние московские квартиры. В подобных жили Антон Чехов, Александр Амфитеатров, Влас Дорошевич, сотрудники московских издательств, редакций, журналисты, многочисленные москвичи.

Десятки и даже сотни людей, приходивших в Столешники по делам, связанным с работой В. А. Гиляровского, подчас не обращали внимания на предметы и вещи, стоявшие в передней и комнатах квартиры. А ныне эти вещи напоминают о многих замечательных людях, бывавших здесь.

Через переднюю, оклеенную незамысловатыми цветистыми обоями, проходили видные русские писатели и деятели культуры. Среди них Л. Н. Толстой и А. П. Чехов, А. М. Горький, Леонид Андреев, А. И. Куприн, Иван Бунин, Владимир Маяковский и Сергей Есенин, многие ныне здравствующие писатели, музыканты, представители театрального мира.

В передней стоял большой желтый деревянный диван, на котором любил сидеть Лев Николаевич Толстой. Обычно он заходил в Столешники по пути домой, в Хамовники, из Училища живописи на Мясницкой, где занималась его дочь Татьяна.

Неприметна была в передней Столешников стоящая около дивана чугунная подставка для тростей и зонтов. Этой подставкой часто пользовался А. П. Чехов.

Приходя в Столешники, писатель заботливо помещал в подставку свою палку.

— Не забудешь, уходя, где оставил свою палку или зонт,— говорил Чехов.

Эта подставка являлась предметом особого внимания жившей в семье Гиляровских Екатерины Яковлевны Сурковой, уроженки села Большая Городня близ Серпухова, выкормившей дочь В. А. Гиляровского — Надюшу. Е. Я. Суркова даже много лет спустя после смерти Чехова заботливо следила за подставкой.

— Надо, Марья Ивановна,— говорила Е. Я. Суркова жене Гиляровского,— чтобы чеховские вещи всегда у нас в порядке были.

— Коли бес завел порядок, так уж будет беспорядок,— шутя отзывался на эти слова Владимир Алексеевич.

— Чеховская ведь вещь, Владимир Алексеевич! А через вещи человек всегда живее вспоминается,— замечала Суркова, смахивая пыль с подставки.— Может, он больше не вещь, а порядок во всем любил... У тебя, Надюша, как и у отца, такой любви к порядку и вещам и в помине нет,— добавляла она, обращаясь к своей воспитаннице Надюше.— Придешь, все разбросаешь, и найти порой невозможно! Лучше бы тебе, как отцу, кочерги узлом завязывать.

— Видишь, завязанная отцом кочерга на видном



В. А. Гиляровский. Рисунок Н. А. Клодта.

месте в передней,— отвечала Надюша, указывая на кочергу, висевшую на крышке отдушины голландской печи.

— Кочергу эту по совету Антона Павловича повесили,— не унималась Екатерина Яковлевна.— Для того, чтобы всякий, кто в квартиру приходит, знал, какой силищей обладает наш хозяин.

Антон Павлович знал, что говорил,— помолчав, авторитетно добавляла Суркова.

— Порядок порядком, но главное — знать надо, где что лежит. Папа отлично знает, где и что у него на рабочем столе положено, поэтому он и не позволяет к своему столу прикасаться!

— Ты от отца талант его перейми, а не то, как он у себя на столе беспорядок устраивает! — Екатерина Яковлевна сокрушенно вздыхала.

— Талант, няня, от природы переходит, его, как вещь, брать от других нельзя,— говорила Надежда Владимировна.

Десятки вещей и предметов в Столешниках напоминают об Антоне Павловиче Чехове. Дядю Гиляя с Чеховым связывали давние дружеские отношения, начавшиеся еще в первые дни их литературной работы и продолжавшиеся до отъезда смертельно больного писателя в Германию, где он и скончался.

С 80-х годов Антон Павлович Чехов — для дяди Гиляя просто Антон — бывал в Столешниках запросто, лечил всю семью. С особой заботливостью и вниманием следил он за здоровьем дочери писателя Надюши. Часто, приходя в Столешники, Антон Павлович решал со своим юным другом задачи по арифметике, объяснял ей синтаксические ошибки и неправильности в диктанте, спрашивал по географии.

Чеховым был «пропитан» воздух в Столешниках. Мысли, выражения, крылатые словечки писателя неизменно вспоминались коренными столешниковцами, о чеховских привычках и привязанностях постоянно напоминали вещи, бережно сохраняемые у Гиляровских.

Среди тех, кто приходил в Столешники, не было, кажется, ни одного, кто при воспоминании о Чехове не становился бы более мягким, сосредоточенным. Разговоры о нем всегда были очень задушевны.

— Антон Павлович умел, как никто, замечательно все очеловечивать, приближать, делать родным, понятным. Он умел разъяснять человеческие поступки и движения души, независимо от того, кому они принадлежали — хорошему человеку или плохому, умному или глупому,— заметил как-то Владимир Алексеевич.

Кроме кочерги, завязанной Гиляровским узлом в припадке удали, в передней около толстовского дивана стояла вторая печная кочерга, но уже развязанная в пылу негодования хозяином, которого упрекали в том, что он напрасно портит хозяйственные вещи. Эта кочерга долго оставалась в передней, и редко кто знал об ее «истории».

Очень немногие из гостей дома знали и о том, что около печки когда-то стоял завернутый в холст этюд И. И. Левитана, принесенный художником в подарок Надюше.

— Ты с ума сошел,— сказал Левитану Гиляровский, услыхав, что он дарит дочери этюд.— За него тебе Павел Михайлович Третьяков пятьдесят рублей заплатить может. Заверни и вези в Замоскворечье к Третьякову!..

Левитан выслушал слова Гиляровского, покорно завернул этюд и поставил его у печки в передней, сказав, что отвезет его П. М. Третьякову. Этюд простоял довольно продолжительное время, поскольку у Левитана не оказалось тогда денег на извозчика.

Многое видали и многое слыхали стены этой скромной, ничем внешне не примечательной передней в квартире Гиляровского.

Здесь часто раздавался громкий голос хозяина Столешников, когда он встречал гостей. Здесь звучали раскатистый шаляпинский бас и лирический собиновский тенор, трагический голос М. Н. Ермоловой и улыбчивый разговор М. Г. Савиной, пленительный тембр В. И. Качалова и голоса других прославленных корифеев тогдашнего театрального мира.

Незабываемой сохранилась в моей памяти первая встреча с Владимиром Алексеевичем Гиляровским. Это произошло в начале века все в той же передней

его квартиры, слабо освещенной лампочкой только что проведенного электричества.

Невысокого роста, крепко и ловко слаженный, с быстрыми движениями, уверенным голосом, Гиляровский с первых слов приветствия располагал к себе и покорял, оставлял ощущение душевной широты, сердечной чуткости. Он сразу приковывал к себе внимание, заставлял вслушиваться в его слова и даже смотреть на многое его глазами.

Интересные подробности во многом неожиданной и противоречивой биографии, привлекательность Гиляровского, его отзывчивость и душевность, конечно, раскрылись в полной мере много позднее. В первые же минуты знакомства Гиляровский был для меня только известным московским журналистом, писателем, вступившим в мир литературы вместе с А. П. Чеховым, поэтом «некрасовского строя лиры», чьи меткие и колючие экспромты и четверостишия доходили даже до провинциальных глубин.

Останавливала внимание удивительная броскость внешнего облика Гиляровского. В нем поражала бившая ключом энергия, особого накала напряженность и волевая устремленность.

Впечатления от первой встречи с Гиляровским и его квартирой, позднее ставшей для меня, как и для многих, «Столешниками дяди Гиляя», усиливались еще и контрастом между московской обстановкой начала XX века и тем, что виделось и запомнилось на берегах средней Волги, где промелькнули мои детские и ранние юношеские годы.

Разность обстановок не могла не поражать, не захватывать своей несхожестью, не привлекать новизной. Впечатления эти до сих пор приходят на память, наполняя сердце то радостным волнением, то печальной грустью.

Москва, этот древний, исконно русский город, в дни моих первых соприкосновений с ней, хотя и поражала еще устойчивым бытовым укладом, необыкновенно густым, величавым и в то же время мягким перезвоном и гудением колоколов, начинала уже ощущать новые веяния времени. По словам Александра Блока, они перешли затем в неслыханные перемены в жизни всей страны.



В. А. Гиляровский и В. М. Лобанов. Фотография 1900-х годов.

Центральные московские улицы, покрытые тогда в основном круглым, отшлифованным лошадиными копытами булыжником, были наполнены дребезжанием и лязганьем колес в железных ободьях извозчичьих пролеток и ломовиков. В неумолкавший уличный шум и гул города гармонично вливался колоритный, напевный говорок москвичей с подчеркнутым «аканьем».

Шумные, оживленные московские улицы поражали мое воображение после необыкновенной тишины и безлюдья бесконечного степного Заволжья, где пронеслись годы жизни до приезда в Москву и поступления в университет. В дымке уже промелькнувшей юности мне вспоминались заволжские просторы, щедрые урожаями земельные угодья, расстилавшиеся без конца и без края. Ласково золотясь в закатных солнечных лучах, розовато дымились под степным ветерком ковыльные дали.

Над безлюдными просторами, испепеленными солнечным жаром и приносившимися из азиатских пустынь суховеями, в выцветшей и поблекшей поднебесной синеве медленно и величаво парили одинокие ястребы, жадно высматривая добычу.

По вечерам в прозрачном и ароматном воздухе притихших полей, в порыжевшей от зноя траве перекликались коростели, звонко и пронзительно посвистывали проворные увальни-суслики.

По пыльным дорогам изредка проскакивали на низкорослых, но замечательно выносливых лошадках всадники в остроконечных шапках из кошмы, одетые в теплые стеганые кофты. Это были калмыки и киргизы — случайные гости этих мест, попадавшие сюда из оренбургских и уральских приволий.

Детские и юношеские впечатления от степного Заволжья в Москве заменились совершенно новыми наблюдениями, с иными людьми и событиями.

Мы были на пороге 1905 года. Закономерность и неотвратимость революции понимали многие, одни более осознанно, другие менее.

Одной из причин, нарушавших привычный распорядок и уклад московской жизни, была развернувшаяся за двенадцать тысяч верст от столицы война на Дальнем Востоке, непопулярная в народе, для большинства трудно объяснимая и осуждаемая. Эта война способствовала усилению роста революционных настроений, все явственней ощущаемых с каждым месяцем.

В обстановке надвигавшихся событий, развернувшихся через год грохотом артиллерийской канонады на Пресне, москвичи особенно ощущали потребность в дружеском общении, в теплом слове. Этого всегда было в избытке в Столешниках — и в рабочей, приемной комнате квартиры, и в кабинете хозяина, и в столовой, где приветливо светила старинная висячая керосиновая лампа с тремя колпачками, переделанная в электрическую.

Душа Столешников — дядя Гиляй по складу и склонностям своего характера не мог не жить в самой гуще событий. Живыми, волнующими новостями насыщались Столешники после возвращения Гиляровского из редакции «Русского слова», где он тогда усиленно работал. Гиляровский приносил ворох известий о военных и революционных событиях.

Большинство из приходивших в Столешники людей также делились впечатлениями о тех сдвигах, которые расшатывали и раскачивали устои жизни.



М. И. Гиляровская.

Своеобразным, чутким барометром настроений Москвы и москвичей был дядя Гиляй, как ласково звали его многочисленные посетители Столешников. Так ласково и душевно назвал друга своей литературной молодости Антон Павлович Чехов. И это имя закрепилось за Гиляровским. Этим именем Гиляровский подписывал часть своих газетных статей. Оно крепко и органически вошло в обиход литературной Москвы, стало как бы ее неотъемлемой частью.

Все искренне и преданно любили, ценили и почитали неугомонного, вечно куда-то спешившего, занятого какими-то важными делами неукротимого дядю Гиляя. Энергичный, быстрый, собранный, дядя Гиляй стремился всюду побывать, все увидеть собственными глазами и пощупать собственными руками. Через три десятилетия после его ухода из жизни один из московских толстых журналов охарактеризовал его как человека чистого сердца, неустанного жизнелюба, великолепного знатока Москвы. Последнее качество, по всей вероятности, и давало возможность дяде Гиляю с чрезвычайной чуткостью откликаться на все, что волновало страстно любимый им город.

Радушие хозяина и его небольшой семьи, разносторонность увлечений и интересов Гиляровского, его осведомленность тянули к нему людей, и не только литераторов, журналистов и актеров, связанных с ним и общими профессиональными интересами, и работой.

1904-й и, в особенности, 1905 годы начали пополнять привычные и дружные ряды друзей Столешников новыми людьми, до этого здесь не бывавшими. Среди них было много военных, едущих на фронт или возвращавшихся с Дальнего Востока, а также москвичей, связанных с нараставшими революционными событиями. Наиболее заметными среди новых гостей Столешников были наборщики московских типографий, служащие и рабочие Казанской железной дороги. С последними у дяди Гиляя были давнишние крепкие связи. Новые посетители обычно заглядывали в квартиру днем и проходили прямо в кабинет хозяина.

Из военных наиболее частыми гостями были донцы, кубанцы и сибиряки. Среди них даже распростра-



Н. В. Гиляровская-Лобанова.

нилось мнение, что того, кого «благословит» дядя Гиляй, пуля на войне не достанет.

Приходили сюда и те, кто издавна знал Гиляровского как непримиримого борца со всем, что унижало и оскорбляло людей.

Давнишние сердечные привязанности связывали Гиляровского с рано ушедшим из жизни Глебом Ивановичем Успенским, человеком необыкновенной душевной чистоты и нежности. Глебушка — так его называли в Столешниках.

Теплотой и сердечностью были пронизаны отношения Гиляровских с писателем Дмитрием Наркисовичем Маминым-Сибиряком, последние годы замкнуто, одиноко жившим в Петербурге. В дни своей литературной юности Мамин-Сибиряк был частым гостем семьи Гиляровских, задушевным другом дяди Гиляя и его верной жизненной спутницы Марьи Ивановны.

Весь строй жизни Столешников, конечно, определял хозяин квартиры, Владимир Алексеевич Гиляровский. Он придавал ритм, определял целеустремленность, не уставал удивлять уменьем откликаться на сердечные движения и порывы множества людей.

Писатель с необычайной теплотой и вниманием относился к каждому человеку, отличался проницательностью и чуткостью. Все эти качества усиливались большой одаренностью Гиляровского, яркостью его ума, блестящим остроумием.

Скромная 10-я квартира в доме № 9 по Столешникову переулку и ее хозяин были хорошо известны жителям древней столицы, население которой перевалило в это время за миллион.

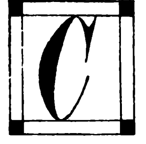
Каждый московский извозчик, если садившийся к нему седок говорил: «К Гиляровскому» или «К дяде Гиляю», ехал без всяких дополнительных вопросов в Столешников переулок.

Адресованные в Москву письма с краткой надписью «В. А. Гиляровскому» аккуратно и быстро доставлялись почтамтом адресату.

Такими были Столешники дяди Гиляя, когда мне посчастливилось войти в его семью.

Незабываемые встречи.

2.



первых недель жизни в Столешниках наибольшее впечатление оставили встречи с писателями-москвичами, близко знавшими в начале своей литературной работы недавно ушедшего из жизни Антона Павловича Чехова. Некоторые из писателей не один год работали бок о бок с ним в московских журналах в дни своей литературной молодости.

Интерес к этим писателям, которых в Столешниках называли чеховцами, определялся, конечно, не их литературной известностью, популярностью и взлетами творческих достижений, а тем, что они многое могли рассказать об Антоне Павловиче.

Это были по-разному даровитые писатели, которые в пределах своих возможностей правдиво отразили отдельные стороны московской жизни. Они печатались в основном в московских и отчасти петербургских иллюстрированных еженедельных журналах, а также в газетах, среди которых не последнее место занимал «Московский листок».

Дарованию некоторых из этих писателей-москвичей было далеко до сверкания таланта Чехова и других крупных писателей, но зерна их творческих урожаев все же пополняли закрома нашей литературы. Несомненно, они дождутся внимательных исследователей, которые определят их место в литературе.

Приходя в Столешники, эти писатели раздумчиво вспоминали дни своей ушедшей молодости и сравни-



А. П. Чехов. Фотография с дарственной надписью В. А. Гиляровскому.

вали век минувший с веком нынешним. Интересно было слушать их мирную дружескую беседу, их воспоминания о редакционных днях «Будильника», «Развлечения» или «Москвы», о царившей там непринужденной веселой обстановке.

В квартире Гиляровских, хранившей вещи и предметы, к которым Чехов прикасался, которые держал в руках, делались более живыми и осязательными воспоминания о Чехове, память о нем насыщалась большой душевной теплотой и сердечностью. Дядя Гиляй и его жена дополняли воспоминания гостей о встречах и разговорах с Антоном Павловичем за чайным столом или в небольшом кабинете хозяина, всегда казавшемся тесным от неимоверного количества книг, газет, гранок, лежавших на подоконнике, этажерке, стульях.

В разговорах об Антоне Павловиче и его времени были ощущения подкрадывавшейся старости, властвовало обаяние и необыкновенная сила воздействия на людей личности Чехова, его чуткости и удивительной внимательности.

— При Антоне Павловиче Гиляй утихомиривался и более жадно принимался за писания,— замечала иногда Марья Ивановна.

На это Владимир Алексеевич, прищурив глаза, хитро улыбаясь из-под нависших хохлацких усов, которыми всегда любовался И. Е. Репин, отвечал:

— Буря гнет и ломает деревья, а наступающее спокойствие и тишина заставляют людей сосредоточиваться и задумываться. Не знаю, что сильнее: мятежный ураган или умиротворяющий покой. Но Антоша был мудрым покоем, который заставлял пристальнее наблюдать, что делается вокруг, и вникать в происходящее.

В гостиной Столешников находился небольшой уютный диванчик, прозванный Чеховым «вагончиком». На этом «вагончике» Антон Павлович любил отдыхать после обеда.

В рабочей комнате Гиляровского стояло очень удобное, сделанное по специальному рисунку Чехова, низкое, с большой широкой спинкой кресло. Сидя в нем, Чехов «пробегал» многочисленные газеты, получаемые в Столешниках.

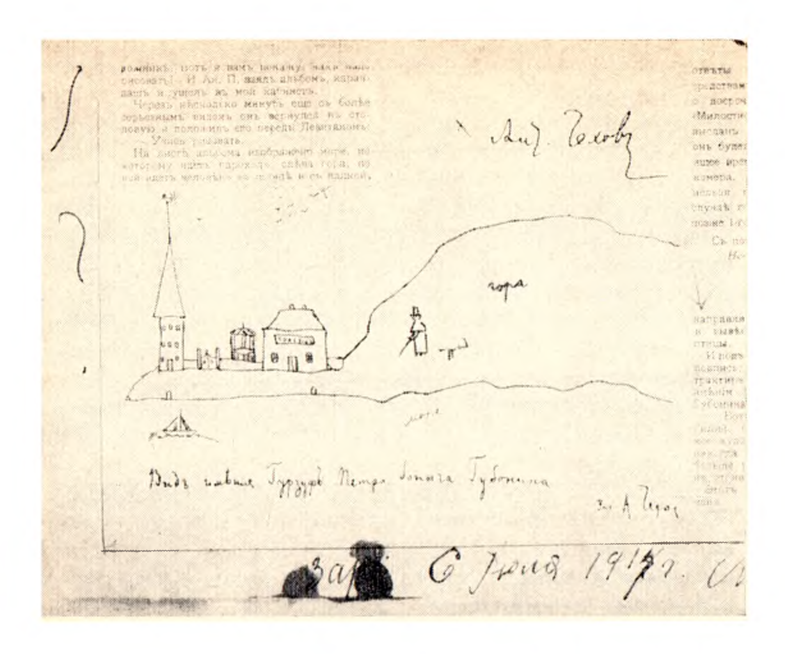


Рисунок А. П. Чехова, сделанный в Столешниках.

Около кресла стояла небольшая неказистая этажерка. На ее полки Чехов аккуратно складывал прочитанные газеты, в отличие от хозяина Столешников, который оставлял их на полу около кресла.

В буфете среди чайной и столовой посуды сохранилась чашка, из которой Чехов пил крепкий, специально для него завариваемый чай.

Хранились также старинной поделки небольшой хрустальный стаканчик, из которого Чехов охотно потягивал подогретое красное вино, и толстого стекла пивная кружка.

На письменном столе хозяина среди изобилия всякого рода бумаг и книг лежал альбом. На одном из листов его Чехов в присутствии своего друга художника Левитана нарисовал карандашом вид Гурзуфа с дачей известного в те времена богача Губонина.

На книжных полках в квартире долгое время оставались нетронутыми книги, когда-то просмотренные Чеховым и как бы сохранившие теплоту чеховских рук.

Антон Павлович, преданно и глубоко любивший Москву, мог буквально часами с жадностью слушать рассказы Гиляровского о Москве и москвичах.

Гиляровский в мелочах знал жизнь города, умел находить интереснейших людей, открывать удивительные черты их характера, раскапывать занимательные истории.

— Ты поразительный московский всезнайка, Гиляй,— неоднократно говорил ему Чехов, прослушав очередной необыкновенный рассказ, сочно и колоритно переданный Гиляровским за обедом или чаем.

— Бросай ты, Гиляй, свою московскую хронику! Займись рассказами,— часто убеждал Чехов своего беспокойного, вечно стремящегося к новизне друга, неутомимого исследователя московской жизни.

— От моих опытов в этой области, Антон, как ты хорошо знаешь, осталось немного, а остальное легким дымком взвилось во дворе московской полицейской части, когда сжигался тираж моей первой запрещенной книги — «Трущобные люди», которую благословил Глеб Иванович.

Москва и москвичи высоко ценили и чтили Чехова. Это особенно выразилось в жаркий июльский день 1904 года, когда Москва встречала на вокзале останки писателя, а затем с болью и скорбью провожала их к месту последнего успокоения на Новодевичьем кладбище.

Чеховское обаяние, воспоминания о его чарующем поэтическом таланте притягивало в Столешники тех, кто тяжело переживал великую утрату, понесенную русской литературой, кому доставляло истинную радость оживить в памяти подробности общения с ним.

— Зачастили к нам чеховцы,— заметила жена Гиляровского, Марья Ивановна, на покров день, когда в Столешниках пекся традиционный пирог с мясом и капустой.— Даже при Антоне Павловиче я многих у себя в этот день не видывала.

— Раньше, Маня,— отвечал ей Гиляровский,— мы все постоянно, чуть ли не ежедневно встречались и видались в «Будильнике», «Развлечении», «Москве», «Свете и тенях». Некоторых этих журналов теперь уже нет. Существующие не только растеряли многих

из нас, но и сами изменились. Да и жизнь теперь требует иного освещения современности, иных тем, чем тогда...

Послушай, о чем говорят приходящие к нам теперь чеховцы. Сегодняшний день от них словно заслонился минувшими днями. Они не всегда видят, что чеховский «злоумышленник» уже не отвинчивает гайки на рельсах, а начинает прислушиваться к разговорам о забастовках, что «три сестры», может быть, высланы из Москвы за чтение нелегальщины, а владелица «вишневого сада» спешно складывает чемоданы, чтобы спокойнее провести тревожное время в городе. Ты порасспроси-ка у нас бывающих... Многие ли из них смогут вразумительно ответить на вопрос: чем живет сегодняшняя Москва и москвичи?

И сам дядя Гиляй отвечал:

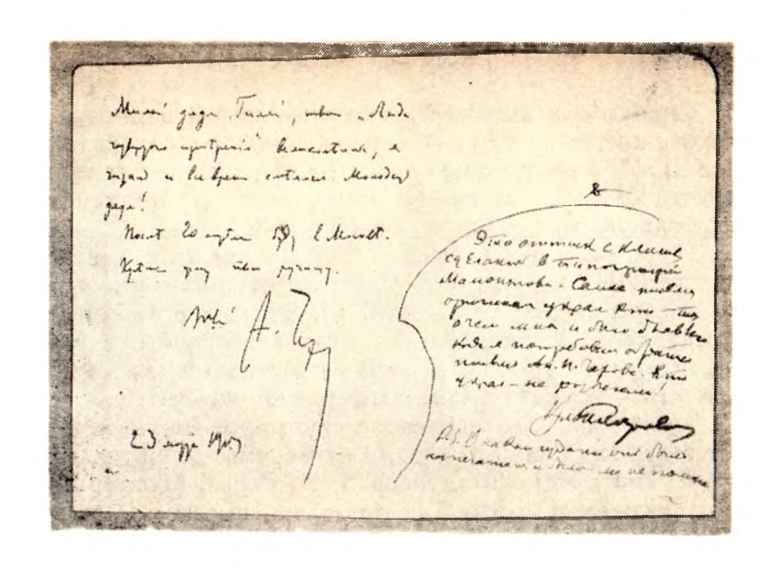
— Москвичи теперь начинают кипеть! В этом привлекательность сегодняшнего момента. Это надо ловить, схватывать и доносить до читателей!

Я тоже, ты хорошо знаешь, люблю Москву, привязан к ней и предан ей, как сын. Я москвич и горжусь, что могу себя называть этим почетным именем!

У меня, как и у тех, кто сейчас считает себя чеховцами, обостренная любовь к родному, старинному русскому городу. Я, как и многие коренные москвичи, увлечен Москвой, особенностями ее быта, повадками, манерами, говорами. Это увлечение наложило своеобразный отпечаток на вкусы и пристрастия работавших с Чеховым писателей и окрасило в определенные цвета их произведения. И Антон и все, кто вместе с ним начинал писательскую деятельность, старались вкладывать свои наблюдения и фантазию в форму небольших коротких рассказов. Много сил и внимания отдавали они московской тематике, московскому быту.

Москвичи постоянно были перед нашими глазами. Вольно или невольно они заставляли нас в наших писаниях главное внимание отдавать Москве,— говорил Гиляровский.

Не случайно возникла в чеховские времена газета «Московский листок». Подчеркнутое внимание ее было направлено на текущую повседневность московской жизни, на москвичей и их быт.



Автограф письма А. П. Чехова В. А. Гиляровскому с отзывом о статье «Люди четвертого измерения».

Колоритнейшая фигура газетной Москвы того времени — Николай Иванович Пастухов. Москва выпестовала и вывела Пастухова в люди. Организовав «Московский листок», Пастухов с самого начала своей издательской деятельности сосредоточил внимание на московском репортаже и стал приучать к этому сотрудников.

«Московский листок» дал литературный приют многим из тех, кто раньше сотрудничал в московских иллюстрированных еженедельниках. Одни из них писали в «Листке» от случая к случаю, другие прочно осели в газете. Она стала для них и печатной трибуной, и твердым, постоянным источником заработка.

Среди обосновавшихся в «Московском листке» писателей был Иван Ильич Мясницкий, хорошо знавший Чехова и работавший с ним в ряде московских изданий. В течение многих лет Мясницкий печатал в пастуховской газете живые сценки с натуры, в которых правдиво и остро передавал свои наблюдения над

жизнью москвичей, воссоздавал кусочки московского быта.

Сценки Мясницкого легко читались, а вернее, по чеховскому выражению, проглатывались, как рюмка водки. Иногда они получали одобрительные отзывы взыскательных читателей, понимавших и ценивших настоящую литературу.

И. И. Мясницкий был частым гостем в Столешниках. В 1904 году это был уставший от жизни человек, за которым числилось много толстенных романов из московской жизни. Он разделял известность с равными ему по уровню и жанру писателями и во многом имел схожую с ними литературную судьбу.

Молодежь Столешников, группировавшуюся вокруг дочери Гиляровского, в это время слушательницы Высших женских курсов В. И. Герье, Мясницкий интересовал тем, что был не только писателем, но и одним из управляющих крупнейшего московского миллионера Г. Г. Солодовникова. Соединение этих профессий казалось молодежи трудно объяснимым, и она приглядывалась к Мясницкому.

— Если бы я был так же плодовит, как Мясницкий, то я потребовал бы для себя в истории русской литературы большую главу,— не раз глуховатым голосом, покашливая, говорил Чехов, когда шла речь об этом писателе.

— Если бы я знал подноготную Москвы так же, как Иван Ильич, мои сочинения разместились бы не меньше чем в пятидесяти томах,— заметил А. В. Амфитеатров, взяв с рабочего стола Гиляровского «Гостиннодворцев» Мясницкого.

— Будь я по плодовитости Мясницким, я издавал бы у Клюкина или Ефимова по четыре толстенных тома в год,— добавил В. М. Дорошевич.— Полученный за книги гонорар избавил бы меня от ежедневного писания газетных фельетонов и позволил спокойно путешествовать по местам, для меня интересным.

Гиляровский, вступая в разговор, отвечал:

— Это все так и в какой-то мере отвечает действительности, но без газеты, без возможности быстрейшим образом откликаться в ней на все, что беспокоит нашу передовую общественность, я все же не

мог бы жить. Это не в моих силах и не по моему темпераменту. В моих жилах, видимо, все-таки усиленно буйствуют газетные бациллы и микробы.

Эти замечания принадлежали писателям, которые были завсегдатаями Столешников, хорошо знали быт и жизнь Москвы и беспристрастно оценивали литературные возможности и дарование И. И. Мясницкого. Они, как и хозяин Столешников, великолепно знали, как бойко расходятся книги Мясницкого в московских книжных магазинах, в особенности в железнодорожных газетных киосках Контрагентства печати А. С. Суворина.

Мясницкий, как авторитетное, доверенное лицо торговой московской фирмы Солодовникова, как человек, которому этот денежный воротила доверял тайны своих дел и многие ответственные, щекотливые поручения, конечно, великолепно знал движения души и сердца людей, которые впоследствии стали персонажами его произведений.

Мясницкий списывал своих персонажей непосредственно с живых людей. Он наблюдал и изучал их в каждодневных встречах при торговых и деловых общениях. Мясницкому, конечно, не хватало, да он на это и не претендовал, того, что позволило Александру Николаевичу Островскому создать неумирающую галерею типов и образов купеческой Москвы. Это не уменьшает правдивости изображения москвичей Мясницким. Знал он людей, каких брал прототипами своих персонажей, поразительно.

— Вопрос другой, с какой силой таланта он их изображает,— говорил Владимир Алексеевич,— Иван Ильич не пересмешник, как Николай Александрович Лейкин, а честный изобразитель видимого и знаемого.

Николай Александрович — поэт-лирик, особенно в начале своего литературного пути, когда он был приказчиком в магазинах петербургского Гостиного двора. Лейкин прекрасно знал жизнь мелких торговцев, настойчиво стремившихся из третьегильдейных купцов превратиться во второгильдейные и при удаче, может быть, даже в первогильдейные!

— А Мясницкий — это совсем другое,— говорил Гиляровский.— У него другой мир, иное поле наблю-



Редакционный день «Будильника». Рисунок Н. Н. Чемоданова. Стоит второй слева — А. П. Чехов, в дверях — В. А. Гиляровский.

дения и совсем другое литературное любопытство. Об этом при упоминании Лейкина много раз говорил и Антон. Чехов Лейкина знал больше и лучше, чем мы, коренные москвичи, так как долго работал у него в «Осколках» и постоянно встречался с ним при наездах в Питер.

Я по работе в «Осколках» тоже знавал Лейкина, общался с ним. Конечно, отмахиваться от него писателям как будто и не совсем подобает. Мы все ценим его удивительнейшую трудоспособность — и писательскую и редакторскую. Нисколько не умаляя ни Лейкина, ни Мясницкого, скажу, что их сравнивать и объединять нельзя. Это писатели различные и по корням, и по истокам, и, пожалуй, по направленности, хотя у них была приверженность к изображениям однотипных сословий.

Лейкин — петербуржец, Мясницкий — москвич, и москвич типичный, со всеми своими литературными пристрастиями. Между ними большая разница. Особенно она бросается в глаза, когда вникаешь в существо и музыку языка того и другого. У Мясницкого

язык несравненно правдивее, колоритнее и ярче, чем язык героев Лейкина.

У Николая Александровича, особенно в первоначальные годы его литературной работы, герои рассказов сочно говорили на языке, присущем их деятельности и бытовому окружению. Позднее лейкинские герои стали изъясняться на языке без всяких профессиональных оттенков и влияний. У Мясницкого такой нивелировки языка не замечалось. И в романах и в сценках, которые он писал для газеты, московский говорок проступал явственно и выразительно.

С этим соглашался часто сидевший за столом в Столешниках видный московский литературовед приват-доцент А. Е. Грузинский.

— Когда будут более внимательно изучать говоры отдельных мест России и особенно московские его оттенки и отличия,— не раз замечал он,— то, несомненно, заглянут в книги Мясницкого и, может быть, найдут в них кое-что интересное.

— Сегодня, пожалуй, такого внимания к языку нашей литературы, к особенностям отдельных писателей не заметно. К сожалению, мы не очень этим интересуемся,— отвечал, понюхивая табачок, Гиляровский.

— Сейчас в центре внимания политика, мы все ею захвачены и все ей подчиняем,— вставлял прислушивавшийся к беседе молодой приват-доцент филологического факультета Московского университета Павел Никитич Сакулин, представительный, чем-то похожий внешне на А. И. Герцена, как он изображался в те годы на литографированных портретах.

П. Н. Сакулин увлекал слушателей уменьем красно говорить, входил в ряды прогрессивной профессуры.

— Литература разве не политика, да еще какая политика! — несколько задористо бросал А. Е. Грузинский.

— Политика, конечно, дело важное и первостепенное! Но перед нами есть много важных литературных проблем,— говорил молодой приват-доцент Сергей Константинович Шамбинаго, очень вдумчивый, тонкий, проникновенно воспринимавший явления литературной жизни. Лекции и семинары его на



Н. А. Лейкин.

филологическом факультете университета всегда увлекали слушателей.

Молодые одаренные доценты университета в это время часто бывали в Столешниках. Этому способствовало то обстоятельство, что Надежда Владимировна Гиляровская в числе немногих слушательниц Высших женских курсов на Девичьем поле была допущена к слушанию лекций в университете.

— Слух на музыкальное и смысловое звучание слов у нас действительно сейчас притупляется, мы становимся как будто глуховатыми,— продолжал С. К. Шамбинаго.— В романах Мясницкого при всей относительной простоте и порой неслаженности композиции всегда чувствуется московский говор. Язык у него приметный, и в этом отношении ему нужно воздать должное. К сожалению, его сценок с натуры я не читал, но в его романах некоторые из героев наделены чисто московским говорком. Вряд ли он следует совету Пушкина учиться языку у московских просвирен, но колорит, оттенки словесного узора у персонажей Мясницкого очень выразительны.

Я не знаю, насколько внимательно прислушивался Мясницкий к языку коренных москвичей и насколько глубоко он знал Москву, но говор, словесные отличия Замоскворечья, Верхних и Нижних торговых рядов он, видимо, изучил досконально, чувствовал тонко и удачно использовал эти знания в своих произведениях.

Недаром же Мясницкий так много времени уделял солодовниковским делам, много часов проводил в банках, конторах, лабазах, где московский говорок «висел в воздухе».

Героев и персонажей Мясницкого можно считать внуками персонажей Островского. Многие из них уже тронуты цивилизацией, хватили — правда, не с того конца — европейского лоску, что заметно не только по их внешнему виду, но и по языку. Это в каких-то оттенках уловил Мясницкий и отметил в своих произведениях.

— Чтобы заметить оттенки нового, нужны талант и дарование,— можно было слышать от А. Е. Грузинского.

— Да, да,— поддержали его несколько человек из

внимательно слушавших беседу в столовой дяди Гиляя.

— Без таланта, пожалуй, и стакан чая по-настоящему налить нельзя, не то что написать такую уйму произведений, как у Мясницкого,— добавлял Гиляровский.

Вместе с И. И. Мясницким в Столешники почти всегда заходил крепко связанный с «Московским листком» и друживший с его издателем Н. И. Пастуховым Алексей Михайлович Пазухин. Он жил только литературным трудом и был сверстником писателей, которых называли чеховцами. Пазухин не был другом ни Мясницкого, ни Гиляровского. Это был скорее их спутник по литературному скитальчеству. Пазухин был присяжным поставщиком романов для «Московского листка» и имел свою, ценившую его как занимательного рассказчика, читательскую аудиторию. Эта аудитория покупала газету в строго определенные дни, когда печаталось продолжение его романов. Романы Пазухина были посвящены занимательным событиям из жизни купеческой и мещанской среды. Но наиболее живыми, меткими, с большим запасом жизненных наблюдений, были помещаемые им в газете небольшие сценки с натуры. В них с наибольшей силой проявлялось дарование писателя.

Пазухин в отличие от Мясницкого жил исключительно на то, что давал ему литературный труд, в котором он видел не только источник существования, но и известное душевное отдохновение.

Одним из частых посетителей Столешников был Александр Семенович Лазарев-Грузинский. Невысокого роста, отличавшийся внутренней деликатностью, которая чувствовалась в любом его разговоре, Лазарев-Грузинский производил впечатление типичного литератора 80—90-х годов. Деятельный сотрудник юмористических изданий, автор коротких рассказов и сценок с натуры, Лазарев-Грузинский в тревожные годы начала нового века на развалинах одного из юмористических журналов пробовал издавать иллюстрированный еженедельник «Оса». Из этих попыток, несмотря на искреннее желание и старание Ла-

зарева-Грузинского, ничего не вышло. Главным препятствием, мешавшим «Осе» стать читабельным печатным органом, было время, настоятельно требовавшее иной, новой тематики, давшее и новые литературные формы в творчестве писателей, сгруппированных Аркадием Аверченко вокруг журнала «Сатирикон».

Какими-то гранями примыкал к чеховцам-москвичам Евгений Николаевич Опочинин, связанный с ними не столько литературной работой в дни молодости, сколько позднейшим сотрудничеством в «Московском листке». Опочинин еженедельно, в очередь с Пазухиным, поставлял для «Московского листка» подвальные фельетоны-романы, которые нельзя отнести к серьезной литературе. Изредка он писал для газеты и яркие сценки с натуры. В них было много жизненных наблюдений, зоркости, остроумия и чисто московского колорита.

Сотрудничество в «Московском листке» помогло Опочинину войти в Столешники. Он не отказывал себе в удовольствии посидеть с приятелями в затрапезном московском трактирчике, в волнах табачного и кухонного дыма, под грохот подаваемой и убираемой посуды, гудение старомодного органа или пиликанье немудреного оркестра. Опочинин, как и многие его друзья, считал трактирные бдения чуть ли не обязательными и не мыслил без них нормальной литературной работы.

— Только здесь в разговорах с приятелями приходят нужные темы, живыми и убедительными становятся герои моих романов,— говорил иногда Евгений Николаевич.— У вас, Марья Ивановна, за столом я иногда словно лекции слушаю. А задушевные разговоры в трактире меня часто в быт моих романов вводят. Без быта какие же романы, какая осязательная правда жизни?!

В Столешниках Опочинин всегда сидел тихий, застенчивый, стремился быть как можно незаметнее, не останавливать на себе внимания. Он скромно пил крепкий чай, внимательно вслушивался в разговоры, иногда вставлял острые замечания, которые свидетельствовали о его наблюдательности и уме.

— До Москвы, куда я попал в начале последнего

десятилетия прошлого века,— рассказывал Опочинин,— я был в числе птиц иного полета и иных высот. Во времена студенчества, в Киеве, я для заработка писал в газетах, а переехав в начале 80-х годов в Петербург, по рекомендации Павла Петровича Вяземского включился в интереснейшую работу по разбору семейного архива Шереметевых и литературного архива друга А. С. Пушкина — С. А. Соболевского. Секретарские обязанности у Соболевского не только расширили мои знания в области родной литературы, но и помогли стать библиотекарем «Общества любителей древней письменности», публиковавшего интереснейшие материалы. Работая в этом Обществе, я редактировал периодические сборники, познакомился с рядом замечательных деятелей культуры и литературы, живших в это время в Петербурге. Среди них были историк литературы Александр Петрович Милюков, поэт Я. П. Полонский, знаменитейшие «пятницы» которого я посещал, поэт А. Н. Майков и очень читаемый публикой романист П. Д. Боборыкин.

Для молодежи, бывавшей в Столешниках, привлекательность Опочинина была, конечно, не в том, что он сотрудничал в «Московском листке», не в том, что он хорошо знал быт Москвы. Главный интерес к нему объяснялся тем, что он хорошо знал Ф. М. Достоевского, общался с ним в пору создания бессмертных страниц «Братьев Карамазовых», видел его в повседневном быту, слышал то, что, может быть, Федор Михайлович не всегда доверял бумаге; имел возможность близко наблюдать и других крупных писателей, живших в Петербурге в конце прошлого века.

Опочининские рассказы о Достоевском слушались всегда с замиранием сердца. В них были заметны наблюдательность, хорошее знание привычек автора «Игрока» и «Бедных людей», «Подростка» и «Идиота», уменье делать интересные выводы и обобщения.

— Мне выпало огромное счастье личного общения с Федором Михайловичем Достоевским, у которого я запросто бывал на квартире,— рассказывал Опочинин.— Мне помнится один разговор с Федором Михайловичем у него дома, когда Анна Григорьевна поила нас чаем.

«Много дали мне наблюдения над посетителями петербургских трактиров,— сказал Достоевский.— Прелюбопытные встречались в трактирах типы. Приглядишься к какому-нибудь из таких трактирных посетителей, побеседуешь, и вдруг раскроется перед тобой такое, что дух захватит, похолодеешь весь, замрешь, а случайно встреченный собеседник рассказывает без остановки, выворачивает перед тобой такие глубины души, которые никакая фантазия писателя, пожалуй, и придумать не сможет».

В Столешниках однажды шел разговор о какой-то статье, затрагивающей творчество Достоевского. Присутствовавший при беседе Опочинин заметил:

— Поражающим было социальное самосознание Достоевского. Много раз мне приходилось замечать, как Федор Михайлович весь вскипал, когда дело касалось творчества писателей «белой кости». Ему было чуждо так называемое «дворянское житье». Он не раз подчеркивал: «Мы ведь пролетарии, и у нас другое, резко отличное чувство и понимание жизни, не такое, как у дворян!» Это, видимо, во многом определяло личные взаимоотношения Федора Михайловича с его литературными сверстниками, представителями блестящего периода нашей литературы. Вместе с тем Достоевский преклонялся перед гением Пушкина.

Я был довольно близок с Федором Михайловичем в период, когда он приехал в Москву на открытие памятника Пушкину и произнес свою речь,— рассказывал Опочинин.— Широко известен отклик нашей общественности на эту речь, хорошо известны подробности реакции слушателей на нее. Знаменательно было другое: как менялось лицо Федора Михайловича, какие внутренние переживания отражались на нем, когда кто-нибудь заговаривал с ним об этой речи. Видимо, это было для Федора Михайловича не простым выступлением на официальном собрании, посвященном памяти великого поэта. Оно затрагивало сердце Федора Михайловича. Самое малейшее прикосновение к нему причиняло ему чрезвычайно болезненные ощущения.

— Если бы Мережковский хоть краешком уха слышал рассказы Опочинина о Достоевском, он многое бы не написал в своей работе, многое изложил бы

по-иному, с иных точек зрения,— сказал как-то Гиляровский.

В памяти Опочинина сохранилось множество занимательных сведений, небезынтересных для истории русской культуры.

— Разве мы настоящие писатели,— обмолвился как-то в беседе в Столешниках Опочинин.— Мы,— обвел он взглядом сидящих за столом своих соратников по «Московскому листку» — Мясницкого, Пазухина и удобно расположившегося в большом кресле писателя и газетчика Василия Ивановича Немировича-Данченко,— только удобрительный материал для будущих щедрых литературных урожаев. Мы, конечно, вносим свою лепту в общее развитие литературы. Вклад наш, вероятно, не особенно значителен, и вряд ли позднейшие поколения станут его внимательно рассматривать и тем более изучать, но мы все-таки его делали, и делаем искренне, добросовестно и с хорошими, чистыми намерениями.

Может быть, своей работой мы в какой-то мере отвечаем на настоящие литературные запросы общества. Мне обидно слышать, что мы только поставщики чтива и больше ничего. Мне через мои писания хочется научить читателей быть добрей, честней, чище, благороднее! Я к этому стремлюсь всеми своими силами и возможностями. Другое дело, насколько мне и моим друзьям-писателям это удается, но я пишу честно.

— Все может быть, а может быть, не может,— полушутя-полусерьезно бросил Гиляровский.

— Я тоже своими романами хочу читателей приучить к благородным и честным делам,— вставил В. И. Немирович-Данченко.

Иногда, правда, довольно редко, в Столешниках появлялся Николай Михайлович Ежов. Он не был связан с этими писателями дружескими узами, просто писал когда-то в тех же журналах, что и они.

Ежов производил впечатление кем-то и чем-то незаслуженно обиженного человека, болезненно переживающего такое к себе отношение. Некоторая заносчивость, внешняя угрюмость и высокомерие чувствовались в отношениях Ежова не только к молодежи, но и к сверстникам.

Удивил Ежов не только Столешники и Москву, но и множество других читающих людей своими воспоминаниями о Чехове, которые вызвали резкое возмущение всех, кто знал Антона Павловича. С гневными статьями выступил против Ежова А. В. Амфитеатров.

— Черт попутал,— сказал о Ежове Гиляровский.— Забыл, что молод был и это время вместе с нами переживал.

Заходил в Столешники Александр Васильевич Круглов, уроженец, как и Гиляровский, северных мест России. Он жил литературным трудом, знал многих писателей, с некоторыми дружил. С Гиляровским Круглова связывала совместная работа в московских редакциях, где они часто встречались.

Круглов внешне производил несколько старомодное впечатление, воспринимался вне основной линии развития современной литературы; молодежь причисляла его к старикам. Но общей манерой держаться, чутким вниманием к явлениям современной литературы Круглов заслужил почтительное к себе отношение.

— Размеры дарования каждого из нас, пишущих, можно и должно оценивать по-разному, но Александр Васильевич честный литератор и всегда с достоинством держит перо в руках,— говорил о Круглове Гиляровский, для которого занятие литературой почиталось благороднейшим делом, требующим особой ответственности.

В основном Круглов работал в Москве, хотя много лет жил в Петербурге и других городах. В закатные годы своей жизни Круглов более или менее обстоятельно обосновался в Москве, заглядывал в Столешники, чтобы вспомнить ушедшие дни литературной молодости. За долгую жизнь он написал много рассказов и для взрослых и для детей, пробовал перо в различных видах литературы.

В это же почти время мне пришлось столкнуться в Столешниках еще с двумя людьми, которые хорошо знали Чехова и неизменно в беседах вспоминали о нем. Это Вукол Михайлович Лавров и Виктор Александрович Гольцев.

Лавров был редактором-издателем единственного в то время толстого московского журнала «Русская мысль». На издание «Русской мысли» Лавров истратил миллион рублей, полученных им от отца, елецкого торговца хлебом. Это был грузный, раздражительный на вид, быстро состарившийся человек, привыкший к всеобщему вниманию и не терпевший возражений. Он считался лучшим переводчиком с польского, и его переводы Генриха Сенкевича и Элизы Ожешко считались безупречными. В современной ему русской литературе Лавров более всего ценил Г. И. Успенского, А. П. Чехова, В. Г. Короленко, почитал М. Е. Салтыкова-Щедрина. Он гордился тем, что печатал в «Русской мысли» под псевдонимом статьи вернувшегося из Сибири Н. Г. Чернышевского, подчеркивал знакомство с Н. М. Михайловским, хотя к народничеству относился довольно равнодушно.

Гольцев, профессор полицейского права Московского университета, был уволен из него за неблагонадежность, после этого взялся за перо журналиста и стал заправским публицистом. Фактически он редактировал «Русскую мысль».

Коренастый, подвижный, со стремительными движениями, Гольцев был вечно занят неотложными и насущными, по его выражению, вопросами дня. Без его участия не проходило ни одного более или менее значительного события в тогдашней Москве. Гольцев и Гиляровский сотрудничали в передовых изданиях Москвы, постоянно встречались на собраниях московской прогрессивной интеллигенции.

В конце 1904 — начале 1905 года Лавров и Гольцев появлялись в Столешниках, чаще всего по пути в московский ресторан «Альпийская роза» на Софийке (теперь Пушечная улица), славившийся каким-то особенным пивом, которое получали непосредственно из Мюнхена.

В Столешниках Лавров и Гольцев горячо обсуждали волновавшие Москву новости дня, рассказывали об интересных встречах и беседах, уделяли большое внимание политической жизни, особенно событиям русско-японской войны.

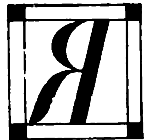
В столовой Гиляровских за стаканом красного вина велись нескончаемые беседы о литературной

Москве, о том, чем она жила раньше, чем живет сейчас, о нравах и обычаях.

Когда же беседа затрагивала Чехова, Гольцев и Лавров как-то притихали, становились более задушевными. В этом, видимо, проявлялось замечательное человеческое обаяние Антона Павловича. И. И. Мясницкий, А. М. Пазухин, Е. Н. Опочинин, А. В. Круглов, В. М. Лавров, В. А. Гольцев и другие оттого, вероятно, врезались мне в память, что были первыми значительными писателями того времени, встреченными в Столешниках.

У огонька висячей лампы.

3.



— москвич,— любил повторять Гиляровский. Он говорил это с нескрываемой гордостью за нерасторжимую связь с родным городом. Всестороннее знание Гиляровским Москвы, ее людей, их быта и привычек, многих московских особенностей было поразительным. Помнится, как в библиотеке Литературно-художественного кружка И. А. Бунин, заметив, что кто-то с трудом разыскивает на плане Москвы нужную ему отдаленную улицу, сказал:

— Гиляй в столовой, поди и спроси у него, чем зря терять время на поиски и глаза портить.

Часто извозчики, когда в экипаж садился Гиляровский, обернувшись с козел, спрашивали его:

— Владимир Алексеевич, скажите, по каким улицам короче ехать?

Дядя Гиляй знал родной город как бы наизусть, вдоль и поперек изъездил его. Он бывал во многих московских домах по интересовавшим его делам, заглядывал в них как журналист, иногда проезжал по улицам на служебной машине с пожарными, на что ему было дано специальное разрешение московского брандмайора.

Много интересного, увлекательного приходилось слышать об отдельных встречавшихся на пути домах во время езды с Гиляровским на извозчике.

— Здесь на втором этаже, бывая в Москве, останавливался Григорович... В этот дом заходил Тол-

стой... Вот в этом произошла любопытная встреча с Салтыковым-Щедриным... А здесь во время наездов в Москву был завсегдатаем Николай Семенович Лесков.

О Лескове Гиляровский вспоминал с какой-то особой почтительностью и всегда называл его не по фамилии, а по имени-отчеству.

— Знал русский язык Николай Семенович. Недаром исколесил Россию. Знал не по словарям, а по натуре, своими ушами слыхивал. Даже не знал, а как бы нутром чувствовал. Разговаривать с ним было одно наслаждение. Малейшие оттенки языка безошибочно отличал. Так надо знать язык своего народа. Только тогда и можно быть литератором,— говаривал Гиляровский.

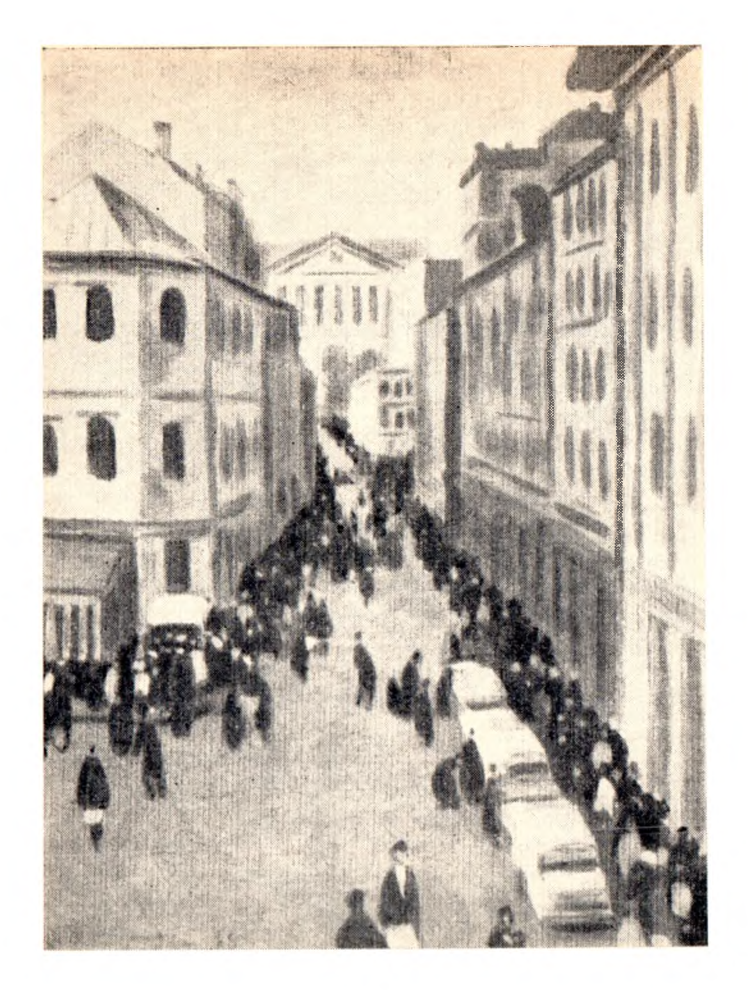
О более близких современниках воспоминаниям Гиляровского не было конца и краю. После совместных поездок по Москве с Владимиром Алексеевичем можно было составить целые очерки о некоторых периодах литературной жизни города. Гиляровский был сам одной из литературных достопримечательностей Москвы.

Надо было видеть неподдельную, искреннюю радость на лицах работников Исторического музея, когда в его залах или рабочих кабинетах с шумом и шутками появлялся Гиляровский. Он громко говорил, угощал табачком, быстро внедрялся в кабинет директора музея Николая Сергеевича Щербатова или заведующих отделами А. В. Орешникова, В. Н. Щепкина, М. Н. Сперанского, В. А. Городцова, И. М. Тарабрина и других.

— Владимир Алексеевич,— говорил Орешников,— никогда не забуду, с каким уважением всегда произносил ваше имя Иван Егорович Забелин. Когда касались каких-либо чисто московских дел, частенько говаривал Иван Егорович: «Это надо проверить у Владимира Алексеевича. Память Гиляровского хранит такие подробности, какие ни из каких источников не извлечешь».

По воспоминаниям самого Гиляровского, Забелин, известный московский бытописатель и историк, не раз беседовал с ним.

Жаркие споры о русской литературе, о судьбах



Столешников переулок. Картина П. П. Оссовского.

русской журналистики вспыхивали не раз в Столешниках за чайным столом.

Помнится, в одном из разговоров принял живейшее участие А. В. Круглов. Он подсел к столу в тот момент, когда В. А. Гольцев красноречиво рассказывал о том, как он редактировал газету «Русский курьер», имевшую определенный успех среди передовой интеллигенции Москвы. В этой газете сотрудничали

известные писатели и публицисты. Когда Гольцев коснулся финансировавшего «Русский курьер» московского предпринимателя Н. П. Ланина, изготовлявшего прохладительные напитки, Круглов сказал:

— Правы вы, Виктор Александрович, когда справедливо и благодарно оценили значение газеты «Русский курьер» для развития нашей передовой московской журналистики, подчеркнули значение Николая Петровича Ланина, дававшего средства на издание газеты, бывшего в некоторых отношениях незаурядным человеком.

Мы,— продолжал Круглов,— не совсем правильно судим о деятельности Николая Петровича. Он, по моему убеждению, один из московских чудаков, которые много хорошего сделали для общества и не должны быть забыты последующими поколениями.

Николай Петрович все свои деньги израсходовал на издание прогрессивной газеты. Я отлично помню подробности ланинского обогащения. Совсем молодым он отправился за границу, чтобы изучить процесс изготовления шипучих напитков. Эту «шипучую» науку Николай Петрович хорошо постиг,— рассказывал Круглов,— начав изучение ее простым рабочим. В Москве он создал образцовое предприятие, скоро оцененное потребителями. Торговые успехи Ланина были результатом его знаний, предприимчивости, энергии. Свое дело Николай Петрович вел умно, настойчиво, хозяйственно. А как только у него появились свободные средства, он начал приобретать на них не особняки и имения, а пустил на издание газеты.

Не вам рассказывать, насколько трудно это в условиях нашей цензуры. Мы все хорошо знаем, с какими трудностями выцарапывается из лап цензуры всякая искренне написанная строчка.

Встреча в Столешниках Гольцева и Круглова вызывала разговоры и рассуждения об издателях, вспоминался пример бывшего богатого человека Вукола Михайловича Лаврова. Вспоминался и Иван Дмитриевич Сытин. Гольцев и Круглов сходились во мнении, что Сытин обладал природной сметливостью и расчетливостью, что большую роль в успехе его дела сыграли издания всякого рода сонников, письменни-



Мемориальная доска на доме в Столешниковом переулке, где жил В. А. Гиляровский. Скульптор Б. П. Барков.

ков и многого другого, что стихийно поглощалось жаждущей чтения массой людей.

— Наверное, при рождении будущего издателя Сытина,— сказал Круглов,— около его люльки находилась какая-нибудь троюродная бабушка, нашептавшая ему о необходимости дать народу дешевые буквари. Такого везения, какое выпало на долю Ивана Дмитриевича, не было ни у кого из русских издателей,— заключал Круглов, а Гольцев добавлял:

— Разве что у хитроумного, смекалистого Алексея Сергеевича Суворина? Находчивая, изобретательная голова у этого петербургского издательского удачника!

Сидящие за столом ни в какой мере не разделяли линии, какую осуществляла основанная Сувориным газета «Новое время», но не переносили ее на оценку самого Суворина как умного книжного издателя.

— Мне много раз приходилось слышать лично от Антона Павловича, да и сам я хорошо знаю,— говорил Александр Васильевич Круглов,— что Алексей Сергеевич и теперешнее «Новое время» не одно и то же. Несколько раз я слышал, не в редакции «Нового времени», конечно, а в огромном кабинете суворинской квартиры в Эртелевом переулке, как критиковал старик многое, что было напечатано в собственной его газете.

Это все, конечно, только к слову. Обоих — и Сытина и Суворина — я вспоминаю,— замечал Круг-

лов,— только как пример везения и счастья в издательском деле.

Они вспоминали другого издателя — Ланина.

— У Николая Петровича Ланина,— рассказывал Гиляровский,— было настойчивое, может быть, даже маниакальное, желание создать в Москве честную прогрессивную газету. На это Ланин без раздумий отдал все, что имел. А ведь сколько газетных столбцов отдано было насмешкам и злопыхательству по адресу Николая Петровича как издателя газеты! Между тем многие наши писатели зарабатывали у Ланина на кусок хлеба. Многие здесь оттачивали свой язык, заостряли свое уменье служить народу честным, правдивым русским словом.

— Не надо забывать, что страницы газеты Николая Петровича дали жизнь первым росткам таланта Леонида Андреева,— не раз говорил Гиляровский.— Кроме судебных отчетов и небольших хроникальных заметок Андреев напечатал в «Русском курьере» свои первые фельетоны и рассказы, привлекшие внимание А. М. Горького, замеченные передовой читательской массой России.

Это немаловажная заслуга Ланина, и этого не надо забывать. В нашей литературной жизни,— прибавлял Владимир Алексеевич,— много гуляет апокрифов. Придется в них разобраться, когда будут писаться книги об этом времени. Неблагополучно в этом отношении с историей нашей журналистики. А материала ценного и нуждающегося во внимательном рассмотрении достаточно.

Землекопами и каменщиками, закладывающими фундамент большой русской журналистики, называл современных ему издателей А. С. Лазарев-Грузинский.

— Это кто же землекопы и каменщики? — с некоторой долей раздражения спрашивал Евгений Николаевич Опочинин.— К издательским работникам Белинского и Чернышевского отнести надо! Радищева и Герцена включить необходимо! Ничего себе, хороши каменщики и землекопы!

С большим вниманием всегда слушались в Столешниках воспоминания о рано ушедшем из жизни Г. И. Успенском. В 80-х годах, в дни своей литератур-



Г. И. Успенский.

ной юности, Гиляровский был тесно связан с Успенским, нежно любил этого необыкновенно обаятельного человека. Память о писателе свято почиталась всеми членами семьи Гиляровских, включая родную сестру Е. Я. Сурковой — Уляшу, жившую в семье и хорошо знавшую всех ее друзей и знакомых.

Безграмотная Уляша вызывала умиление и удивление Глеба Ивановича своим уменьем выбирать безошибочно из громадной груды ежедневно получаемых газет то, что ее просили.

— Как же вы, Уляша,— спрашивал Глеб Иванович, проницательно вглядываясь в нее своими полными неизбывной тревоги и недоумения глазами,— точно угадываете, что мне или Владимиру Алексеевичу нужно?

Уляша спокойно и с достоинством отвечала:

— Я же, Глеб Иванович, когда в магазине ситец для платья выбираю, рисунок-то хорошо вижу. Как же я газетный-то рисунок разобрать не могу? Я ведь не слепая!

— Такой наблюдательный и талантливый народ, как наш русский, несомненно, необыкновенных чудес в мире наделает! — говорил Успенский.— Дай только бог, чтобы пришло время, когда он сам собой распоряжаться будет, из чужих рук на свет божий глядеть перестанет. У меня дух замирает, когда я смотрю на наших крестьян — орлы, которым надо летать в поднебесье.

В одно из посещений Столешников Глебом Ивановичем произошел такой эпизод.

Владимир Галактионович Короленко неизменно бывал в Столешниках в свои приезды из Нижнего Новгорода. Екатерина Яковлевна, если Короленко заходил, когда Владимира Алексеевича не было дома, простодушно сообщала:

— К вам мужичок, Владимир Алексеевич, из Нижнего заходил. Обещал зайти вечером.

На объяснения Марьи Ивановны или Надюши, что это Короленко, большой писатель, Екатерина Яковлевна рассудительно отвечала:

— Книги-то он головой пишет, а ходит с бородой, в шапке и тулупе, как у нас в Городне!

Как-то перед рождественскими праздниками Ека-

терина Яковлевна сообщила возвратившемуся к обеду Владимиру Алексеевичу:

— А к вам мужичок в тулупе заходил, просил передать, что он из Хамовников.

На разъяснение дочери Гиляровского, что это знаменитый писатель граф Лев Николаевич Толстой, Суркова спокойно заметила:

— Это тот, от которого Владимир Алексеевич из Хамовников книги привез? Солидный писатель! По толщине его книги вровень с Псалтырем, Евангелием или Деяниями апостолов.

В Столешниках долго помнились разговоры между Владимиром Алексеевичем и Успенским. По живым, эмоциональным воспоминаниям Марьи Ивановны, Гиляровский, зарядившись солидной понюшкой своего излюбленного табака, сказал однажды Успенскому:

— Глеб Иванович! Многие читающие ваши рассказы и статьи невольно ощущают голос тревоги и раздумья вашей совести, вашего сердца. Многие читатели считают вас совестью нашей литературы. Неоднократно приходилось мне это слышать, и не только в редакционных комнатах «Русских ведомостей», где собирается цвет нашей литературы, но и в наборной газеты, где зарабатывают свой кусок хлеба рабочие.

У вас внутри есть какой-то инструмент, улавливающий малейшие движения души и сердца человеческого. Вы умеете чутко отзываться на все, что больно и глубоко затрагивает человеческое достоинство. Все, что мы называем совестью, не есть ли самое чувствительное, самое справедливое и самое нужное в человеке чувство, неумолимый судья человеческих поступков? Этот аппарат, Глеб Иванович, у вас работает до поразительности точно. За это вас любят, ценят и уважают читатели, которые ждут от своего писателя предельной правды и искренности. Каждый человек оберегает свою совесть от соблазнов и давлений жизни, но с особым вниманием и заботой должен охранять ее русский писатель, должен заботиться о ней так, как делаете это вы...

Навсегда запомнилось мне, Глеб Иванович,— говорил Гиляровский,— выражение ваших глаз, вашего лица, когда вы наблюдали за обитателями Хитровки, забывшими о хорошем людском отношении. Помните,

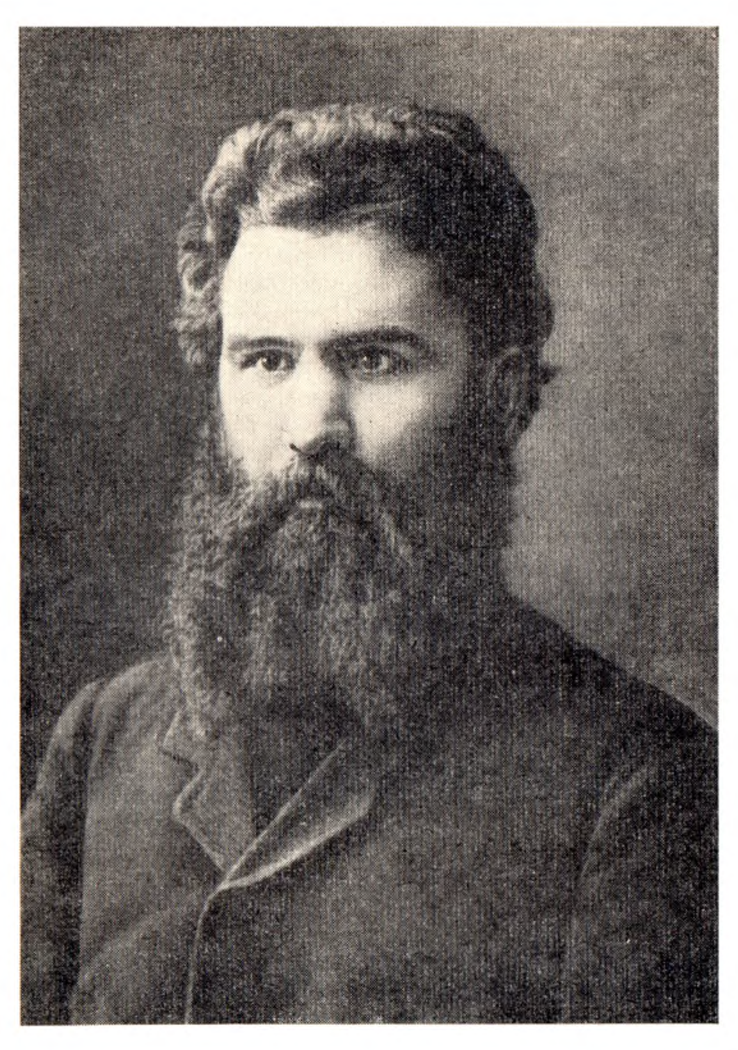
с какой нескрываемой болью и тоской вы смотрели на женщин во дворах и трущобах Хитровки. В эти минуты я даже сожалел, что повел вас в эти страшные места московского дна, в пристанище нищеты, порока, преступлений. До чего они дошли, до чего их довели наши порядки, при которых мы палец о палец ударить не хотим, чтобы помочь людям сохранить человеческое обличье...

— Не уберегли мы совесть нашей литературы,— сожалел об Успенском бывавший в Столешниках Сергей Яковлевич Елпатьевский. Это был писатель, без большой силы скользнувший в литературе своего времени. Елпатьевского нежно любили многие и охотно собирались под его гостеприимный кров в Ялте, воздух которой помогал ему бороться с тяжелым недугом.— Не уберегли, не сумели его уберечь,— говорил Елпатьевский.— На наших глазах сломался, сгорел, растаял... Не только как врач, но и как писатель, я изо дня в день наблюдал, как уходила жизнь из этого могучего, одаренного талантом человека. Глеб Иванович прекрасно сознавал, что дни его сочтены, но не желал этому покоряться.

Приходилось часто слышать, что в выражении глаз Глеба Ивановича было что-то такое, что предвещало его трагический конец.

— У Антона Павловича глаза тоже ясно выражали неизбежность близкого конца. Мне это бросилось в глаза, когда я его навестил в квартире в Леонтьевском переулке буквально накануне отъезда в Баден-Вейлер,— рассказывал Гиляровский.— Чехов как врач прекрасно сознавал безнадежность своего положения. У Глеба Ивановича, помнится, было другое выражение. Неоднократно, когда он сидел около стола в моей рабочей комнате и слушал, что я ему говорил или читал, в его глазах светилась какая-то необычайная хрупкость. В эти минуты я невольно думал: «Недолговечен внутренний механизм Глеба Ивановича. При малейшем резком движении жизни у него все в пыль рассыплется».

Так и случилось. Жизнь по отношению к нему была постоянно груба, без конца своевольничала с ним, наносила ему раны, очень мучительные и бессердечные увечья. Оттого-то Глеб Иванович так рано



В. Г. Короленко.

ушел из жизни, не сказав многого, о чем мог сказать людям этот прекрасный писатель, человек необыкновенной душевной красоты и обаятельности.

— Незабываем для меня этот человек,— сказал как-то в другой раз Владимир Алексеевич, когда разговор коснулся Успенского.— Много видел я замечательных людей — Ивана Сергеевича Тургенева, Федора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича Толстого. Мне посчастливилось видеть Толстого в Хамовниках и здесь, в Столешниках. Иногда мы подолгу разговаривали, даже возражать Толстому приходилось, когда заходила речь о непротивлении злу. Толстовское непротивление всегда было неприемлемо для моего нутра. С рождения я любил драки. Но только Антон Павлович и Глеб Иванович оставили в душе какие-то особые следы и отпечатки.

Если Антон Павлович был сама мягкость, нежность, то в Глебе Ивановиче этого не было. В Глебе Ивановиче, в самой его фигуре, в каждой строчке его сочинений чувствовалась какая-то, если можно так определить, обреченность перед трагическими, казавшимися ему непреодолимыми, страшными, мучительными противоречиями русской жизни.

Антон Павлович,— говорил Гиляровский,— порой казался каким-то музыкальным ящиком с необычным по тонкости и восприимчивости механизмом. Читая его рассказы или слушая их в чтении автора, я воспринимал их как музыкальное произведение. В Чехове все было внутренне гармонично, все подчинено одной мысли — будущее русского народа будет прекрасно!

Антон Павлович знал жизнь, как дай бог всякому. Он умел до последних глубин понять состояние описываемого им человека, угадать его прошлую жизнь, предсказать, что принесет она ему в будущем, чем порадует, чем огорчит. Но Чехов обладал и еще одним изумительнейшим даром — необыкновенным чувством языка. И это позволяло ему удивительно точно воспроизводить мельчайшие движения человеческих душ и сердец, раскрывать и объяснять человеческие поступки и действия. В мелодичности и напевности речи Антон Павлович, по-моему, не имел себе равных среди современников.

— Я тугоухий,— как-то заметил Гиляровский.—

В Большом театре деревяшкой сижу, и Федор Иванович мне понятнее и ближе, пожалуй, когда поет у себя дома или в квартире друзей народные русские песни. В поэзию же «Степи» Антона Павловича я могу погружаться в любой момент — и днем, и в часы бессонницы. Эта поэзия для меня всегда желанна, как звуки пастушьего рожка на вечерней заре, как не знающая удержу ямщицкая песнь, как напевы волжских бурлаков. Еще вот Алексей Максимович Горький...

У обоих прекрасных наших писателей — превосходный русский язык. Истоки и корни этого благоуханного языка тянутся, по выражению Пушкина, от московских просвирен, но у каждого иное ощущение. Горьковский язык мужественный, ароматный, певучий, полный внутреннего звучания и оттенков. В нем чувствуется несгибаемость народной воли, несокрушимая энергия, напористость.

Корни одни, а цветение разное, как и в языке Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского. Взять хотя бы язык Толстого. Не помню, кто сравнил его со скошенной травой, только что просушенной солнечным зноем и вольным степным ветром, благоухающей множеством нежнейших ароматов. Фразы у Толстого длинные, не сразу можно угадать, где подлежащее, где сказуемое, а аромат такой, что голова кружится и дух захватывает. А все оттого, что Толстой передает ширь родной земли, простоту и глубину народной души.

А Николай Семенович Лесков, к примеру. Все у него хитреца, все лукавство, все себе на уме. «Авось» да «небось» его словесных кружев во всей полноте передают замысловатую, плетеную ткань народного говора.

Или взять хотя бы Ивана Александровича Гончарова. Любая страница его «Обломова», «Обрыва», «Фрегата Паллада» покоряет, восхищает простотой и проникновенной мудростью. Музыка, никогда не утихающая музыка, волнующая и пленительная, заложена в гончаровских строках. А где ее истоки? Все там же, в языке народа.

Только писатель, настоящий, искренний, понимающий, чувствующий язык своего народа, может заслужить одобрение читателя. Писатель только отшлифовывает слитки словесного золота, полученного им от



Столовая в Столешниках.

народа, и это приносит ему могущество, славу, признание.

Мы часто забываем о языке в спешке нашей повседневной работы, не обращаем на него должного внимания. Авторы статей в газетах и журналах не всегда заботятся о выразительности языка. У них на первом месте злободневность и точность изложения, точность факта. И все-таки, несмотря на это, они получают определенную языковую школу. Я всем своим существом люблю газету. Газетная работа втягивает человека в гущу жизни, позволяет с полной силой и правдивостью отражать все ее глубины и противоречия, все ее трагедии и высоты взлета. Не случайно многие современные одаренные писатели усиленно работают в периодике, которая открывает им путь в большую литературу. Работа в юмористических изданиях не помешала Чехову стать прекрасным писателем. То же можно сказать и о Горьком. Оба они начинали свой литературный путь в газетах, но оба писали в тех жанрах, которые при созревании их таланта стали ведущими в творчестве.

Но есть и другой характерный пример — Алек-

сандр Валентинович Амфитеатров, с которым я почти одновременно начинал литературное скитальчество. Газетная работа, которая быстро принесла ему успех, отучила этого одаренного человека от настоящей художественной углубленности. Амфитеатровские «Восьмидесятники», «Девятидесятники» и «Закат старого века» содержат великолепный фактический материал. В этих романах в избытке наблюдательность и острота, но автор не располагал временем для вдумчивых характеристик, глубоких обобщений. В результате тридцать томов сочинений Александра Валентиновича останутся лишь интересными для чтения литературными этюдами. Эти этюды помогут в изучении русской жизни на стыке двух столетий. Но вряд ли эти произведения, великолепно передающие быт эпохи, будут включены в историю русского классического романа конца прошлого — начала нынешнего века.

Еще пример: Влас Михайлович Дорошевич, тоже мой близкий друг и задушевный приятель с самых ранних лет газетной работы,— можно было слышать от Гиляровского.— Начинал Дорошевич трудно. Перебивался на первых порах. У него не всегда был угол для ночлега, и частенько ему приходилось забираться в церковь к ранней обедне, чтобы согреться. Теперь у него, по заслугам, всероссийская слава блестящего журналиста. Он бесконтрольно хозяйничает в самой распространенной русской газете, где его желание закон и для сотрудников, и даже для очень своенравного хозяина.

Влас Михайлович почти с первых своих литературных опытов начал вырабатывать свой стиль газетного фельетона. Одной из характерных сторон этого стиля была короткая, лапидарная, граничащая с афористичностью строчка, которую очень скоро стали называть «дорошевичевской». Эта строчка одновременно содержала точность, меткость, остроту и большую жизненную наблюдательность. Все это и привлекло к Дорошевичу внимание многочисленных читателей и быстро создало ему положение в русской журналистике.

Влас Михайлович проявлял внимание к слову, заботился о нем, учитывал его особенности. Газета —

особый литературный жанр. Газета должна сообщать о самом нужном на сегодня, и для этого необходимы особые, запоминающиеся, выразительные слова. Дорошевич умел находить такие слова, стремился создать свой газетный стиль и создал его.

Владимир Алексеевич Гиляровский высказывал все это со свойственной ему горячностью и увлеченностью, сидя, заложив под себя одну ногу, около рабочего стола. Когда-то, по семейным преданиям, этот стол находился в квартире известного деятеля времени Александра I — М. М. Сперанского и по какому-то случайному стечению обстоятельств попал в Вологду, в дом отца Гиляровского, Алексея Ивановича.

По окончании этих довольно затягивавшихся разговоров Владимир Алексеевич порывисто вставал, одергивал свою любимую куртку серого сукна, брал со стола неизменную табакерку.

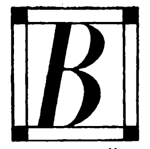
Многое она видела. Дядя Гиляй поглаживал указательным пальцем крышку табакерки, как бы вспоминая давку на Ходынке в мае 1896 года или переправу через Дунай, когда он спасался от грозившей ему петли после разоблачения махинаций короля Милана. Вместе с ней он скитался по донецким степям и хуторам. За понюшкой табака к ней протягивали руку и Лев Толстой, и Чехов, и разбойник Чуркин...

Зарядившись доброй понюшкой (Гиляровский сам готовил табак из смеси разных табаков и ароматных травяных приправ), Владимир Алексеевич с веселой улыбкой произносил:

— Мозги великолепно табак прочищает. А в газетной работе мозги — дело не последнее. Ясность их во многом определяет успех.

Отцы и дети.

4.


кабинете Владимира Алексеевича на стене, среди картин и рисунков его друзей-художников, на видном месте висел фотографический портрет Л. Н. Толстого, лично подаренный ему писателем. На книжной этажерке стояло собрание сочинений Толстого, также подаренное им Гиляровскому.

Глубочайшее преклонение и уважение вызывал у Гиляровского Лев Николаевич Толстой. Часто в Столешниках перечитывались отрывки из «Казаков», здесь постоянно велись разговоры о том, что происходит в Ясной Поляне и Хамовниках, вспоминались встречи с Толстым.

Восхищение Л. Н. Толстым было естественным, внутренне оправданным для обитателей Столешников.

Большой интерес вызывали также сыновья Толстого — Львовичи, как их здесь называли. Гиляровский был дружен с Львовичами, и те часто, гурьбой или в одиночку, приходили в Столешники. Гиляровский обязательно заглядывал к Львовичам, когда бывал в Хамовниках, в нижние комнаты дома.

Львовичи оставили впечатление и запомнились тем, что в каждом из них была частица «крови» Л. Н. Толстого. Главным же, что осталось в воспоминаниях, было их отношение к отцу, как они называли — «папá», которого свято и благоговейно чтил хозяин Столешников.

Львовичи были очень разные по своему внешнему

виду: одни более щуплые, другие грузноватые. В одном Львовиче больше чувствовались замашки человека, в жилах которого течет «голубая кровь», у других это менее бросалось в глаза. Но каждый из Львовичей имел во внешнем своем облике какие-то черточки, по которым сразу можно было угадать принадлежность к роду Толстых. Особенно в этом отношении были характерны носы Львовичей и взгляд изпод бровей — пытливый, зорко высматривающий.

Все Львовичи единодушно высоко оценивали творчество Толстого. На доходы от изданий сочинений отца они все безбедно жили, но с его проповедями, теориями не считались и мало скрывали свое к ним отрицательное отношение. Всех Львовичей сближало осуждающее отношение к философским взглядам Толстого на жизнь. Особенно горячими и последовательными отрицателями этих философских взглядов были сыновья Лев и Андрей.

Тяжелое впечатление оставляли высказывания Львовичей о В. Г. Черткове. Хотя Чертков отталкивал своими диктаторскими замашками и мало чем оправданным, не терпящим возражений гонором, все же он производил впечатление человека, огульное обвинение которого не могло не заронить известной нотки сомнений.

Коли черт одел оковы,
То и будет, знать, Чертковым,—

заметил дядя Гиляй Андрею Львовичу, рассказывавшему, как Чертков забирает в свое имение в Телятниках какие-то бумаги из рабочего стола Льва Николаевича.

Все эти впечатления относились к сравнительно мирному периоду стихийно назревавшей драмы, разыгравшейся октябрьской ночью 1910 года и вошедшей в историю мировой литературы, как уход Л. Н. Толстого из Ясной Поляны. Последовавшая затем трагическая развязка в доме на маленькой железнодорожной станции Астапово прогремела на весь мир.

Вскоре после этого в Столешники пришла Софья Андреевна Толстая. Она пришла сюда из Исторического музея, куда ранее сдала на хранение свои днев-



Л. Н. Толстой. Фотография, подаренная В. А. Гиляровскому.

ники. Явившись в Исторический музей, Толстая потребовала от хранителя музея А. В. Орешникова свои дневники. Получив их, Софья Андреевна начала нервно перелистывать тетради, нашла какие-то страницы и, не обращая внимания на удивленного, даже больше того — потрясенного, хранителя, вырвала несколько страниц, изорвала их в мелкие куски и бросила в мусорную корзину под стол.

Когда стало известно о подписанном Л. Н. Тол-

стым завещании, затрагивавшем материальные интересы толстовской семьи, Софья Андреевна неожиданно заехала в Столешники и, не скрывая своего возмущения, быстро шагая из угла в угол по столовой, отрывисто бросала:

— Об этом надо кричать на весь мир! Это возмутительно! Это похоже на грабеж! Я просиживала долгие часы буквально у ног Льва Николаевича на ковре в комнате, где он писал. Следила, как строку за строкой пишет его рука...

Я не один раз переписывала его листы, которые вряд ли кто другой мог разобрать и которые даже он сам порой с трудом разбирал...

Разве я ему чужой человек? Разве моей маленькой доли в грандиозном толстовском деле нет? Неужели все можно сбрасывать в мусорную корзину чужой зависти?

Владимир Алексеевич! Вы всегда выводили на чистую воду всяческие недобрые дела. Вы обязаны вмешаться! Ведь дело касается моих детей, моего мужа, относившегося всегда к вам со вниманием, хорошо и тепло о вас отзывавшегося...

Вы обязаны вмешаться, Владимир Алексеевич! Толстовское чуткое внимание есть толстовское внимание. Толстовская теплота есть толстовская теплота. Не ко всякому Лев Николаевич их проявлял, не каждому их оказывал. Вы должны, и вы, конечно, это сделаете! В ваших руках газеты, общественное мнение!

Торопливо расхаживая по столовой, Софья Андреевна пылала негодованием и возмущением. Много, может быть и справедливых, слов произнесла Софья Андреевна по адресу тех, кого считала недругами и даже злыми врагами своего мужа, с которым не дожила только двух лет до полустолетия супружества.

Марья Ивановна, потрясенная не менее других этой неожиданной вспышкой гнева С. А. Толстой, очень подробно рассказала о происшедшем вскоре зашедшему в Столешники В. М. Дорошевичу.

— Эх, Марья Ивановна! Не только на Сахалине, где это и более понятно и более объяснимо, мне приходилось наблюдать страшные обнажения человеческих душ, такие душевные раскрытия, которые нельзя было себе и представить. Человеческая душа не

только потемки. Это такая бездна, которая, может быть, ни Толстым, ни Достоевским до нижайших глубин еще не исследована. Сложная это штука — человеческая душа. Аршином, должно быть, наш ум и сердце человечье измерить нельзя.

Через некоторое время на полосах «Русского слова» появился фельетон В. М. Дорошевича в защиту Софьи Андреевны, которая, не без влияния В. Г. Черткова, подвергалась в печати острой и не всегда справедливой критике.

Сейчас под руками нет этого фельетона, он затерялся в сотнях желтеющих и подвергающихся неумолимому разрушению времени газетных полос, но одна фраза врезалась в память:

«У С. А. Толстой как человека и жены величайшего представителя русского народа были ошибки и промахи, но я,— писал В. М. Дорошевич,— благоговейно прикасаюсь к руке женщины, сначала разобравшей фантастически неразборчивый толстовский почерк, а затем не один раз переписавшей постоянно исправляемый, вечно ломаемый текст будущих «Войны и мира» и «Анны Карениной»!»

Не помнится, насколько это выступление Дорошевича уменьшило печатные нападки на С. А. Толстую, но, во всяком случае, фельетон произвел сильное впечатление на многих, кто следил за длительной полемикой вокруг наследия Л. Н. Толстого.

Зашедшего в Столешники полакомиться борщом с ватрушками Дорошевича Марья Ивановна встретила словами:

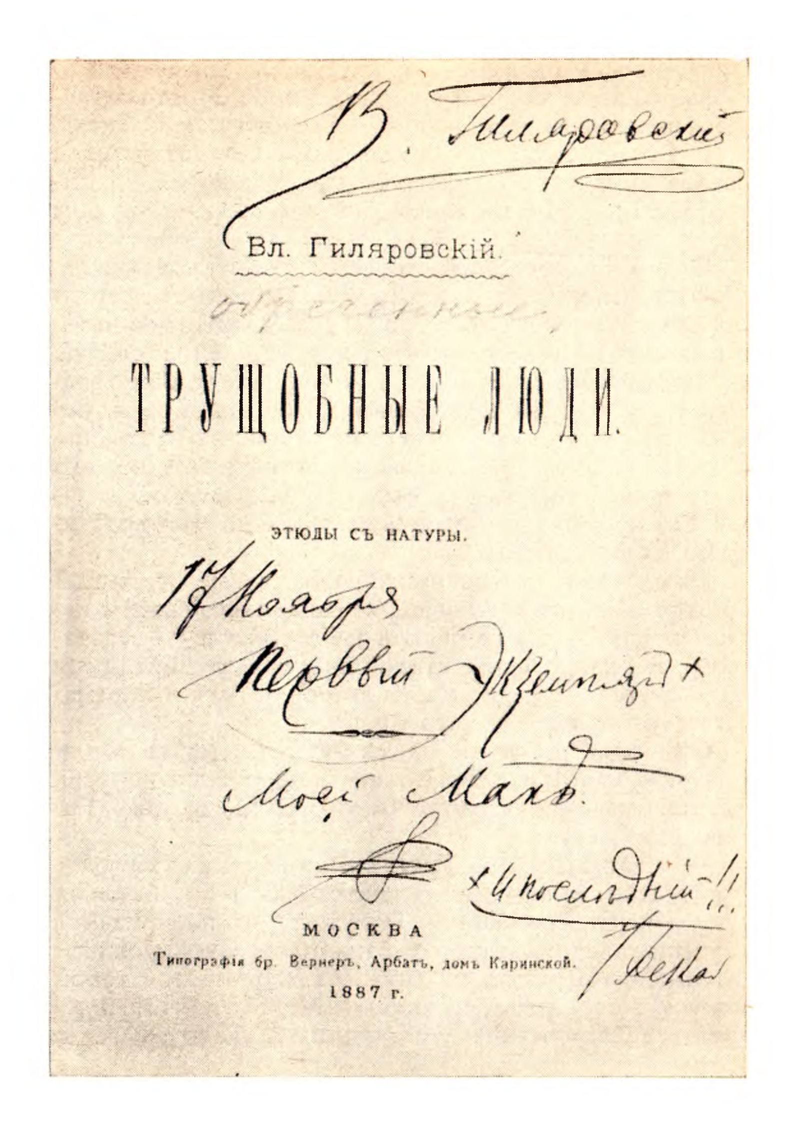
— За защиту Софьи Андреевны позвольте поцеловать вас в лоб, Влас Михайлович!

— Правильно, Маня! Стоит,— заметил Гиляровский.— Даже в губы!

— Теперь это не принято среди светских людей,— ответил, галантно улыбнувшись, толстогубый, не особенно поворотливый Дорошевич.

— Мы не светские люди, а московские журналисты, Влас! — отрезал дядя Гиляй.

Хранитель Исторического музея А. В. Орешников долго сберегал после описанных событий с дневником мелко разорванные странички и переданные Софьей Андреевной дневники.


В. Гиляровский

Вл. Гиляровскій.

ТРУЩОБНЫЕ ЛЮДИ.

ЭТЮДЫ СЪ НАТУРЫ.

17 Ноября

Первый экземпляр*

Моей Маше.

*И последний!!!

МОСКВА

Типографія бр. Вернеръ, Арбатъ, домъ Каринской.

1887 г.

Титульный лист книги В. А. Гиляровского «Трущобные люди», весь тираж которой был сожжен по распоряжению царской цензуры.

— Собираюсь вот заняться их склейкой,— говорил Орешников.— Глаз только жалко. Уж больно мелко Софья Андреевна изорвала написанное. Много и времени и терпенья надо, чтобы их разложить и склеить...

В Столешниках мне пришлось соприкоснуться с потомком другого великого русского писателя — с сыном Федора Михайловича Достоевского — Федором Федоровичем.

Федор Федорович Достоевский работал в московской спортивной организации, связанной с бегами и скачками. Гиляровский хорошо знал владельцев некоторых конных заводов на Кубани и в донских степях, любил степных скакунов и, как журналист, был известен московским спортсменам. Это, видимо, и помогло установлению дружеских отношений Гиляровского с Федором Федоровичем, который знал, что его мать, Анна Григорьевна, была хорошо знакома с дядей Гиляем. Федор Федорович довольно часто заглядывал в Столешники.

Из случайно услышанного разговора между Анной Григорьевной, навестившей Столешники в связи с изданием каких-то материалов по творчеству Достоевского, и Гиляровским, стало известно, что Владимир Алексеевич за год до смерти автора «Братьев Карамазовых» был у него на квартире.

Однажды в ответ на сказанную Дорошевичем фразу: «Гиляй! А ты все-таки поподробнее написал бы, как бывал на квартире Федора Михайловича», Гиляровский сказал:

— Мало ли кого я видал! О всех не расскажешь. Я в театре Анны Александровны Бренко пожимал руку Ивану Сергеевичу Тургеневу, разговаривал в «Русских ведомостях» с Михаилом Евграфовичем Салтыковым-Щедриным, дружил с Успенским, с тобой вижусь, Антона крепко любил! Мало ли что! Буду писать воспоминания, тогда, может, коснусь всего этого.

— Воспоминания воспоминаниями: они для потомков, а ты для газеты напиши. Нам ведь тоже интересно знать, как большие люди выглядели,— ответил Гиляровскому Дорошевич.

— Все будете знать, скорей состаритесь,— отшутился Гиляровский.

Федор Федорович Достоевский — рослый, представительный, мало чем напоминавший страдавшего тяжелым недугом отца, хорошо воспитанный и безукоризненно державшийся — бывал в Столешниках, вел здесь дружеские беседы и хорошо чувствовал себя в радушной обстановке квартиры. Впервые знакомясь, он всегда делал ударение на отчестве, как бы желая этим подчеркнуть свое скромное место. Слово «отец» Федор Федорович произносил всегда с должной долей почтительности и уважения, и ничего, даже приблизительно похожего на то, что явно проскальзывало по отношению к отцу у Львовичей, у него никогда не замечалось.

— Сочинения моего отца продолжают пользоваться вниманием,— говорил с чувством большого удовлетворения Ф. Ф. Достоевский, когда видел в руках кого-либо из живших и посещавших Столешники книгу великого писателя.— Я никогда не забываю, что ношу фамилию Достоевского. Это почетно для меня.

В этих словах чувствовалась не столько гордость, сколько ответственность за достойное сохранение памяти отца

Такими остались в памяти некоторые из потомков двух семей величайших писателей конца прошлого века, являвшихся славой не только русской, но и всей мировой литературы.

Грозы пятого года.

5.

Незабываемой, волнующей датой остается в истории России 1905 год.

Отблески, отражения, отклики революционных событий этого года не могли миновать Столешников. Долго после того, как календарные листочки пятого года сменились на шестой, пережитые дела и дни были еще животрепещущими, являлись все еще злобой дня, обсуждались, наполняли волнующими воспоминаниями и тех, кто жил в Столешниках, и тех, кто приходил сюда поделиться перечувствованным, послушать рассказы очевидцев событий. Время, пронесшееся от января до боев на Пресне и расстрелов на пригородных станциях Казанской железной дороги, было переполнено крупными событиями, волновавшими страну.

В этот период в Столешники стали приходить люди, которые были представителями новых явлений жизни. Новые люди приносили новые, интереснейшие подробности — Гиляровский не желал пропускать ничего, что определяло жизнь сегодняшнего дня, наполняло ее волнующим содержанием.

После 9 января у Гиляровского побывали многие непосредственные участники и очевидцы революционных событий. Со страстностью, возмущением или преклонением перед мужеством борцов рассказывали они о том, что видели, наблюдали, переживали в дни, вошедшие в историю освободительного движения страны.

Бывали в Столешниках люди, участвовавшие в депутации к тогдашнему главе исполнительной власти, хитроумному С. Ю. Витте.

Появлялись участники бурных заседаний петербургского Вольно-экономического общества, где не раз происходили страстные словопрения.

Сотни рассказов были выслушаны в Столешниках о Гапоне, о котором ходило много разных слухов, и никто хорошенько не знал, что это за человек, столь нежданно появившийся в центре общественного внимания.

В Столешниках знали о том, что делалось в это время в редакциях передовых петербургских газет, в рабочих районах Петербурга, где были расположены крупнейшие заводы, в университете и других высших учебных заведениях столицы, молодежь которых бурлила, волновалась и каждую секунду «выходила из берегов» обычного академического существования.

Слушались подробнейшие рассказы о том, что происходило в Царском Селе. Они свидетельствовали о растущей растерянности и сумятице, охватившей верхушку страны.

Иногда Гиляровский делал беглые записи услышанного, и, сохранившиеся целиком или частично в его тетрадях, они, несомненно, могут представить интересный материал для исследователей тех лет.

До сих пор живы воспоминания о посещениях и беседах людей, участвовавших в событиях, связанных с революционными выступлениями на Черном море, с «Потемкиным» и «Очаковым», с трагедией в Цусимском проливе, с Кронштадтским и Свеаборгским восстаниями, с крестьянскими волнениями на юге, под Саратовом и Самарой, и, конечно, с декабрьскими днями в Москве — с перестрелкой у училища Фидлера, «Аквариума», университета, на пресненских баррикадах.

Многие приходили в Столешники усталые, возбужденные, обросшие бородами. Они рассказывали, негодовали, возмущались, протестовали.

Глубоко запали рассказы тех, кто был очевидцем расправы карателей под командой Римана на станциях Казанской железной дороги. Помнится, как целый долгий вечер рассказывал в столовой свои впечат-

ления журналист газеты «Русь» В. Владимиров, увидавший своими глазами многие станции Казанской железной дороги после налета семеновцев и успевший опубликовать в «Руси» несколько очерков, поражавших своим драматизмом.

В один из вечеров в столовой скромный, незаметно державшийся Александр Серафимович Попов (Серафимович) тихим голосом рассказывал о том, что он пережил на Пресне в дни обстрела Прохоровской мануфактуры и сожжения мебельной фабрики Шмита. Только очень небольшая часть тех рассказов отразилась впоследствии в его очерках, посвященных трагическим дням. Эти рассказы Попова поражали своей непосредственностью, отсутствием всякой литературщины.

Незабываем рассказ человека, проведшего с Бауманом последние минуты перед тем, как он был убит во время поездки.

— Льву Николаевичу об этом сообщить бы надо,— заметил дядя Гиляй.— К рассказу о смерти Ивана Ильича Толстой, может быть, что-нибудь еще добавил бы! Вся страна должна узнать, как умирают честные люди.

Удивительнейшим было время тысяча девятьсот пятого года. Теперь многое, о чем тогда грезилось и мечталось, полностью осуществлено. Многие страстные желания того времени уже вошли в историю, многому даны исторические оценки.

В те же дни и недели, которые кажутся от нас очень далекими, для многих события, развертывавшиеся тогда в Москве и других городах страны, казались порой даже фантастическими.

Однако вдохновляемая крепчайшей верой в неизбежность стремительных перемен и сдвигов в русской жизни, передовая общественность Москвы была уверена: что-то, казавшееся если и не незыблемым, то, во всяком случае, вполне устойчивым, «сорвалось с петель» и начало разрушаться. Основным, главным, решающим было сознание, что приближается конец, завершается затянувшийся трехсотлетний период прогнивших политических форм управления страной.

Такое ощущение решительных перемен захватывало не только редакции московских передовых газет и журналов, не только жителей центра. Еще более ощутительны были они, пожалуй, в заводских районах города. Они были распространены и в Охотном ряду, где богом и законом было определено подешевле и выгоднее приобрести и подороже продать, и в тихом, по виду сонном Замоскворечье, с запертыми на крепкие засовы дворами и калитками, и в пригородных местечках, и в дремлющих барских особняках на Арбате и Пречистенке.

Приближение неизбежных перемен повседневно чувствовалось и в Столешниках. Состав посетителей Столешников в эти дни резко изменился. Здесь бывало много военных — и из армии на Дальнем Востоке, подготовлявшейся к демобилизации, и из воинских частей, расквартированных в Москве.

Среди новых гостей Столешников были люди с Дона и Кубани, где у дяди Гиляя были всегда крепкие, тесные связи.

Значительнейшую часть новичков в Столешниках составляли рабочие и среди них «казанцы» то есть рабочие железнодорожных мастерских Московско-Казанской железной дороги. Дядя Гиляй был издавна связан с ними, интересовался их жизнью, во многих семьях запросто бывал.

«Девятый вал» неминуемо надвигавшейся революционной бури все более ощущался с каждым днем. В этом убеждали и события на Дальнем Востоке, и петербургское 9 января. Для большинства было очевидно, что страна находится на пороге крупнейших событий.

Каждое утро, едва услыхав, что в прорезь двери брошены почти все выходившие в Москве газеты, Гиляровский погружался в их изучение. Стоя около желтой, приставленной к стене большой комнаты конторки, он торопливо, напряженно просматривал заголовки телеграмм и заметок, часто сопровождая прочитанное восклицаниями. В них удивление сменялось возмущением, одобрение — резким протестом, и весь Владимир Алексеевич как бы кипел неподдельным возбуждением, неудержимо клокотала его нетерпеливая, бурная натура. Чтение газет прерывалось теле-

фонными звонками и резкими, возбужденными репликами и замечаниями:

— Великолепно! Возмутительно! Приезжайте! Расскажите! Поговорим! Жду!

Часто после таких телефонных разговоров в Столешники приходили непосредственные свидетели и участники того или иного события, о котором шел разговор по телефону.

Гиляровский уходил с ними в свою рабочую комнату и подолгу вел какие-то неизвестные домашним разговоры. Иногда после этого он подходил к телефону и, назвав редакционный номер «Русского слова», говорил:

— Необходимо оставить 50—75—100 строчек для очень интересного сообщения. Откладывать на другой день нельзя.

Москва в эти дни бурлила, волновалась, кипела.

После 9 января в Столешниках побывали многие, кто видел Петербург в этот трагический день. Одни с негодованием и возмущением, другие с неподдельной болью рассказывали о том, что пришлось им пережить. Поражала удивительная жестокость по отношению к тем, кто хотел донести до престола правду о страданиях трудового люда.

— Это ракета, возвестившая, что наступление на прогнившее самодержавие началось и победа обеспечена,— сказал о событиях 9 января кто-то из сотрудников «Русского слова».

— Последние часы неограниченной монархии Романовых истекают,— добавил другой.

В Столешниках, несмотря на различия во взглядах бывших здесь людей, бесспорным оставалось убеждение, что неограниченному монархическому управлению страной пришел конец и неизбежны большие перемены.

Едва стал уменьшаться поток сообщений о расправе 9 января, как с молниеносной быстротой начали распространяться слухи о хаосе в управлении страной, о явной и очевидной неспособности властей.

Глубоко ранили сердце подробности о сдаче противнику Порт-Артура. Мелькали колючими эпизодами события текущей политической жизни: закрытие высших учебных заведений; «высокое» назначе-

ние Д. Ф. Трепова, на которого возлагалась обязанность найти спасительные средства для сохранения самодержавной власти в стране; отставка министра внутренних дел П. Д. Святополк-Мирского, пообещавшего через газеты кое-какие либеральные правительственные мероприятия. В начале февраля гулким эхом прокатился по стране взрыв брошенной И. П. Каляевым в Кремле бомбы, уничтожившей генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея Романова, дядю царя.

— Монархия разваливается, и ее осколки, как куски разбомбленной кареты, начинают засорять московские тротуары,— заметил В. М. Дорошевич, когда ему рассказали о подробностях убийства.

Через несколько дней Москва и вся страна были потрясены первыми известиями о начале битвы за Мукден, где верховное командование осуществлял военный министр А. Н. Куропаткин, снабдивший дальневосточную армию множеством икон. Всем, даже невоенным, было ясно, что исход мукденовского сражения предрешает окончательный исход войны на Дальнем Востоке.

— Покончили с силушкой нашей армии, несмотря на доблесть стойкого нашего солдата,— сказал Гиляровский.— Бездарность военного командования все сводит на нет. Без головы даже сильные руки храбрецов — бессильны!

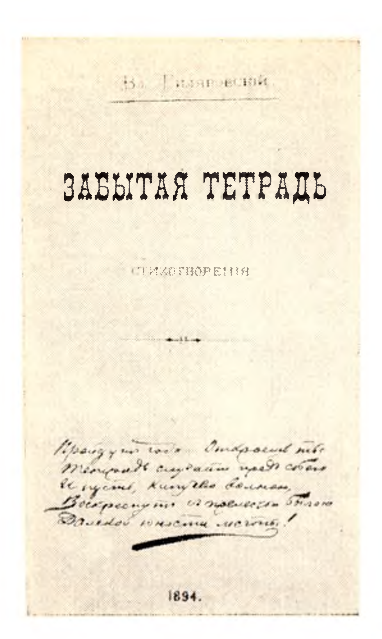
Жадно впитывались в стране волнующие известия о двухнедельных боях за Мукден, и поэтому мало затронуло внимание передовой общественности опубликованное в газетах сообщение о созыве «булыгинской думы». Зато по-иному, с большой общественной темпераментностью была встречена резолюция Пироговского съезда врачей.

Эти и ряд последующих событий не раз вызывали замечания Гиляровского:

— Раскачка продолжается! Ветер крепчает! Надо плотнее, на все пуговицы застегивать пальто и даже поднимать воротник и нахлобучивать фуражку или шляпу!

В тревожных и беспокойных настроениях пронеслись март и апрель, а май принес Цусиму.

В мутных волнах узкого пролива Желтого моря


Вл. Гиляровский

ЗАБЫТАЯ ТЕТРАДЬ

СТИХОТВОРЕНИЯ

1894.

Титульный лист книги стихотворений В. А. Гиляровского «Забытая тетрадь».

были потоплены не только плавучие стальные крепости эскадр З. П. Рождественского и Н. И. Небогатова, но и вера в силу и могущество самодержавного строя.

— Сила и слава нашего флота, горделивое веяние Андреевского флага потоплены в волнах Цусимы,— говорили находившиеся на излечении в Москве моряки, бывавшие в Столешниках.

Четко сохранились в памяти оставшиеся в живых очевидцы Цусимы, прибывшие в Москву с места разыгравшейся военной катастрофы. С необычайным возмущением рассказывали моряки о трагедии в проливе Желтого моря, об окончательной утрате всякой веры в благополучный исход войны. Эти рассказы подтверждало распространенное среди передовой общественности Москвы убеждение в неизбежности и близости бесславного конца дальневосточной войны.

— Жуткие дни! Кровь стынет! Сердце замирает! Надо всемерно добиваться конца,— бросил как-то дядя Гиляй после одного посещения Столешников очевидцами военных событий.

С каждым днем положение в стране обострялось. Об этом свидетельствовали восстания моряков Черноморского флота на броненосце «Потемкин Таврический», «Георгий Победоносец» и корабле «Прут». Несколько моряков, прибывших из Севастополя, колоритно рассказали подробности событий в Черноморской эскадре, возглавляемой главнокомандующим Черноморским флотом Г. П. Чухниным.

— Чухнин и свобода — вещи вряд ли совмести-

мые,— заметил дядя Гиляй после одной из таких бесед.

Яркими и впечатляющими были рассказы А. И. Куприна о происходившем на берегах Черного моря. Писатель красочно, темпераментно и образно передавал виденное и услышанное им. Многие подробности, естественно, не нашли места в тогдашней печати по цензурным условиям.

Дальний Восток с подписанием мирного договора с Японией сразу вышел из поля зрения общественности. Военную трагедию с Порт-Артуром, Мукденом, Цусимой старались как бы позабыть, не думать о ней.

— Я даже минутами начинаю сомневаться, я ли автор «Красного смеха» и надо ли было мне его вообще писать,— обронил как-то в разговоре за чайным столом в Столешниках Л. Н. Андреев.

— Ты, Леонид, ты! И очень хорошо, страстно написал! Вся Россия им зачитывалась,— ответил Н. Д. Телешов, как всегда, спокойно и авторитетно.

— Во всю силищу развернул ты в ней, Леонид, нашу боль и тревогу,— добавил Гиляровский.

В хронике текущих московских происшествий, обсуждавшихся в Столешниках, хочется отметить предъявление рабочими сытинской типографии на Пятницкой коллективного требования к администрации о повышении расценок. Некоторые из рабочих, принимавших участие в подготовке этих требований, несколько раз бывали у Гиляровского и горячо толковали в его кабинете и, уходя, в передней. Слышались такие слова:

— Хоть он (И. Д. Сытин), несомненно, и обозлится, но делать ему нечего — придется попятиться! Время теперь не на его стороне.

Несколько недель спустя основные требования рабочих были приняты администрацией типографии, и дядя Гиляй, столкнувшись с Сытиным в редакции «Русского слова», бросил:

— Видите, Иван Дмитриевич, иногда и запятая для владельца типографии превращается в точку.

Слова Гиляровского о запятой были намеком на то, что рабочие требовали при подсчете сделанного набора учитывать запятую, как самостоятельный типографский знак, что раньше в расчет не принималось.

— Шутить все изволите, Владимир Алексеевич,— улыбаясь, ответил Сытин.— Пишите, как Влас Михайлович (Дорошевич), без запятых, тогда нам убытку меньше будет.

Ясная сентябрьская погода с чудесными прозрачными днями, насыщенными последним солнечным теплом, принесла ряд крупных общественных новостей, свидетельствующих о дальнейшем углублении и обострении революционных настроений в стране.

Как волны в разбушевавшейся морской стихии, из одного города в другой перекатывались волнения, распространялось недовольство. Усиливалось революционное брожение среди крестьян, начинавших пускать помещикам «красного петуха», росло число забастовок на фабриках и заводах, открыто не повиновались властям некоторые воинские части. В различных городах страны проходили съезды врачей, юристов, журналистов, педагогов, земских и городских деятелей, которые в своих резолюциях единодушно и настойчиво требовали учредительного собрания. Сентябрь не был затишьем. Это были сильнейшие, ураганной напряженности ветры перед готовой разразиться каждую минуту бурей. Так воспринимались сентябрьские дни пятого года. Каждый день приносил все новые, подчас полные неожиданностей, показатели обострения политической «погоды» и усиления революционного «давления» в стране.

Все твердые устои московской жизни, весь ее бытовой уклад находились в состоянии почти полнейшего развала. Каждую минуту могли прекратить подачу воды в квартиры и колонки. И поэтому все, кто во что горазд, запасались водой — наливали ее в ванны, ведра и всяческие другие подходящие, а иногда и совсем не подходящие для этого сосуды. Из-за беспрерывных забастовок каждый день могла прекратиться подача электричества. Из-за этого усиленно покупались керосин, стеариновые свечи и даже лампадки и лампадное масло. На слова старшего дворника, что завтра, может, света не будет, дядя Гиляй наставительно заметил:

— Сходи к Параскеве Пятнице в Охотном, купи десяток восковых свечей. И церкви доход, и тебе полезно.

Усиленно раскупались на всякий случай филипповские и чуевские сухари и сушки, сушился хлеб. Делались, смотря по средствам, запасы муки, крупы, спичек, соли. Все и вся жило в Москве в беспокойстве и тревоге, в ожидании, что завтра обязательно что-то случится и все привычное полетит в неизвестные тартарары.

В Столешниках жила твердая уверенность, что, пока не придут новые люди к управлению страной, хаос будет увеличиваться.

— У нас, кроме городового на углу, теперь, пожалуй, нет другого правительства,— шутя заметил Иван Алексеевич Бунин, зайдя как-то в Столешники.

— У городовых тоже начинают глаза косить,— ответил Гиляровский.

Одной из характерных черточек этого времени было убеждение, что Москва может вполне обходиться без Петербурга, который начинал восприниматься как нечто фантасмагорическое, как источник необычайных курьезов и нелепостей, увеличивающих хаос в стране.

— Это больше не центр политического управления страны, а клетка — только не с жар-птицами, а с летучими мышами, пугающими взмахами своих потрепанных крыльев,— сказал о Петербурге плодовитый фельетонист «Русского слова» С. Яблоновский, мастер придумывать хлесткие характеристики и определения.

Множество самых различных сообщений стекалось в Столешники в эти дни. Известия о забастовках стали уже привычными, и разногласия бывали только по поводу количества забастовавших заводов и числа прекративших работу.

О переговорах городского головы Н. И. Гучкова с забастовавшими трамвайщиками рассказывались длиннейшие эпопеи. Гиляровский в связи с этим сказал, что городской голова поставил столицу на ноги, заставил всех ходить пешком.

Забастовка газетных наборщиков, из-за которых москвичи не всегда вовремя получали информацию, заставила многих чаще обычного забегать в Столешники, чтобы узнать подробности о забастовках пекарей у Филиппова и Чуева, о перестрелке и кровавых

жертвах во время столкновения у булочной Филиппова, о расстреле демонстрации на Тверском бульваре, с которого по распоряжению начальства были убраны все скамейки.

В Столешниках благодаря неутомимости и вездесущности Владимира Алексеевича знали подробности об убийстве ротмистра Величковского, отдавшего приказ стрелять по толпе, пытавшейся прорваться на главную аллею Тверского бульвара, о стрельбе у Никитских ворот, о забастовке на Брестской и Казанской железных дорогах.

Окружающая обстановка, которая с каждым днем становилась все более грозной, как бы удесятерила энергию Гиляровского.

В университетских аудиториях беспрерывно проходили митинги. Студенты произносили пламенные речи, открыто собирали деньги для помощи заключенным и приобретения оружия. Сильнейшее впечатление на москвичей производили каждодневные митинги в юридической и богословской аудиториях Московского университета, самых больших и вместительных в тогдашней Москве. Когда прекращалась подача электричества и аудитории погружались во мрак, зажигались две-три свечи около трибуны и ораторов. Все вместе производило впечатление фантастических картин, знакомых по иллюстрациям в книгах о французской революции.

Гиляровский постоянно бывал на митингах в университете — иногда один, иногда вместе с художником С. В. Ивановым, который с большим творческим трепетом старался запечатлеть отдельные захватывающие его внимание эпизоды.

Однажды во время очередного митинга в Большом зале консерватории разнесся слух, что пол под первым ярусом дал трещину. Присутствующий в зале Гиляровский заметил:

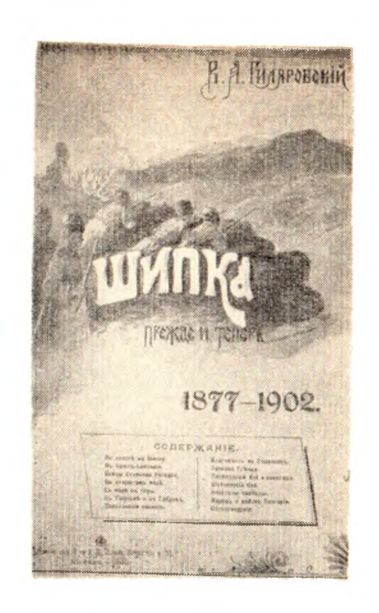
— Только об этом не надо говорить Федору Ивановичу (Шаляпину), чтобы его не огорчать. Его концерты полы консерватории выдержали, а когда народ пришел сюда говорить о своих нуждах, балки сдрейфили.

Газеты, выходящие с перебоями, не успевали печатать бурлящих негодованием протестов, сообщать

о собраниях и митингах, о многочисленных забастовках.

7 октября москвичи узнали о начале всеобщей политической забастовки. В результате забастовок на Казанской, Курской, а затем и на других железных дорогах Московского узла была парализована жизнь в Петербурге, Москве и в крупнейших городах страны.

Частичную разрядку острого, напряженнейшего политического положения принесло опубликование «Манифеста семнадцатого октября» С. Ю. Витте с обещанием свободы слова, собраний и неприкосновенности.



Обложка книги В. А. Гиляровского «Шипка прежде и теперь».

В потоке развертывающихся событий текущими эпизодами были: и треповский приказ «патронов не жалеть», лишний раз подтвердивший удивительную политическую слепоту и недальновидность сановников, стоявших у кормила власти, и поджог в присутствии высших губернских властей Тверской губернской земской управы, прославившейся последовательной оппозицией официальному правительственному курсу.

В Петербурге возник Совет рабочих депутатов под председательством почти неизвестного Москве Г. С. Хрусталева-Носаря. Некоторые увидели в этом попытку создания нового центра управления и руководства страной, почти брошенной на произвол судьбы ее официальными руководителями.

В Москве вышел первый номер «Известий Совета рабочих депутатов». В обиходном, разговорном языке в редакциях московских газет «Известия» называли «Красным правительственным вестником».

Гиляровский в сутолоке и сумятице этих дней обмолвился словами, которые быстро стали крылатыми:

В России две напасти:
Внизу — власть тьмы,
А наверху — тьма власти.

Серьезнейшей демонстрацией явились похороны Н. Э. Баумана, убитого оголтелым черносотенцем. Похороны Баумана потрясли Москву величественностью всего происходящего, внутренней собранностью и дисциплинированностью всех участников, сознательностью, непреоборимой силой и сплоченностью масс. Не преувеличивая, можно сказать, что в похоронах приняло участие огромное число населения столицы, все ее слои.

Стояла удивительная осенняя погода, хрустальный тихий воздух был насыщен блеском солнечных лучей. Огромнейшие толпы народа, молчаливого, сосредоточенного, стояли по обеим сторонам улиц от Коровьего вала, где в одной из аудиторий Высшего технического училища находилось тело убитого Н. Э. Баумана, до Ваганьковского кладбища. За гробом спокойно, с сознанием своей силы двигались колонны людей. Над ними реяли сотни красных флагов и красных полотнищ с революционными призывами. В тишине величественно и скорбно звучали волнующие слова «Марсельезы» и «Вы жертвою пали в борьбе роковой», без которых не обходилась в те времена ни одна демонстрация. Когда процессия проходила мимо театров и консерватории, мелодию подхватывали оркестры, и соединение многотысячного хора и звучащих оркестров создавало удивительное, незабываемое впечатление.

Похороны поразили до глубины души каждого, кто хоть мало-мальски понимал суть происходящих событий.

— Лед тронулся. Это уже буйный разлив, который ни Трепову, ни ему подобным не остановить,— заметил Гиляровский.

— Помнишь, Маня, Николая Баумана, заходившего к нам за несколько дней до манифеста? — спросил Владимир Алексеевич, возвратившись вечером из Высшего технического училища, где он провел много ча-

сов в беседах с людьми, подготовлявшими распорядок завтрашних похорон.

— Помню, Гиляй! Меня поразили его глаза, которые одновременно отражали и душевную теплоту, и огромную силу воли,— ответила Марья Ивановна.

— Пылающий жар души и не знающая колебаний сталь воли,— заметил Владимир Алексеевич.— Такое впечатление оставлял во мне Бауман при каждой встрече с ним. Мне крепко запали в память его слова: «Меньше надо писать о делах, которые собираемся делать, и больше, вернее, напряженнее и сосредоточеннее наши дела делать!»

С раннего утра в день похорон Гиляровский ушел из дому и был на улицах Москвы. Возвращаясь домой, Гиляровский вместе с другими попал под обстрел полиции, устроившей засаду за оградой университета.

Запомнился один вечер в Столешниках в самом конце октября, когда Гиляровский принес первый номер вышедшей в этот день в Петербурге газеты «Новая жизнь». Вслух были прочитаны статьи, вызвавшие ряд живых откликов, восклицаний.

— Молодец Алексей (Горький), быстро сумел собрать надлежащих людей вокруг нужного дела! — сказал Гиляровский.

Через несколько дней, кажется в начале ноября, внимание столешниковцев привлек петербургский выпуск «Известий Совета рабочих депутатов». Газета была отпечатана в типографии «Нового времени».

— Хотел бы я посмотреть выражение лица Алексея Сергеевича Суворина,— говорил Владимир Алексеевич,— когда он просматривал строки революционной газеты, отпечатанной в его типографии.

— Едва ли ему принадлежат слова, недавно напечатанные в «Новом времени»: «Это не пожар, но несомненный поджог, это не революция, но уже пролог к революции!» — вставил в разговор С. Яблоновский.

Конец ноября прошел в обстановке продолжающегося накала революционных настроений в стране. Первые декабрьские дни принесли новые забастовки на большинстве заводов Москвы. Газеты публиковали обращения партий к населению не платить государст-

ву налогов, за что были немедленно закрыты. Присланный из Петербурга адмирал Дубасов сосредоточил в своих руках всю военную и административную власть в городе.

В ночь на 6 декабря в Столешниках уже был известен текст постановления о начале с 7 декабря всеобщей стачки с переводом ее в вооруженное восстание.

— Приказ о наступлении опубликован,— сказал, вернувшись домой с набранным в гранках постановлением, Гиляровский.— Завтра начало решительной схватки!

Позднее стало известно о приостановке движения на всех железных дорогах, кроме Николаевской, о закрытии большинства магазинов, о прекращении работы трамваев и конки. Вскоре Гиляровский стал очевидцем драматических эпизодов при осаде театра «Аквариум» на Садовой, где правительственные войска безуспешно попытались захватить революционных дружинников. 9-го вечером Гиляровский подробно рассказывал об орудийном обстреле училища Фидлера, где стойко держались дружинники. Владимир Алексеевич внимательно всматривался в углубляющуюся схватку и торопливо заносил все виденное в свои записные книжки.

В Москве прекратили работать заводы, учреждения. Газеты не выходили, телефонная связь с Петербургом для частного пользования была прервана. Москва и в центре и на окраинах казалась обезлюдевшим городом. Только изредка погромыхивали по мостовой металлические ободья извозчичьих пролеток, только беспорядочная стрельба и одиночные выстрелы нарушали непривычную для Москвы тишину.

С каждым днем усиливался накал борьбы. Строились баррикады у Никитских ворот, на Садовой, в Долгоруковском переулке и других районах Москвы. Кто-то из участников собрания штаба боевых дружин в Народном доме на Введенской площади пришел в Столешники рассказать о происходившем. Забежавшие в Столешники студенты рассказали о том, как был свален вагон конки для баррикад на Садовой и как им в этом деловито и хозяйски помогали солидные дворники близлежащих домов. В другом ме-

сте двое полицейских подсказали восставшим, где во дворах лежат доски и пустые ящики, очень нужные для сооружения баррикад. Наборщики из типографии И. Д. Сытина поделились впечатлениями о разрушениях в недавно отстроенном великолепном здании типографии на Пятницкой, у Серпуховской площади.

14 декабря стало известно, что в Москву прибыли из Петербурга по вызову Дубасова войска под командованием полковника Мина. Они должны были усмирить волнения, подавить восставших. Одновременно железнодорожники — друзья дяди Гиляя — сообщили, что из Перервы и Люберец Казанской железной дороги начали собираться в Москву дружинники. Вскоре в районе Пресни запылала мебельная фабрика Шмита, родственника влиятельной фабричной династии Морозовых, и начался артиллерийский обстрел фабрики известного текстильного фабриканта Прохорова.

В эти дни обычное течение жизни в Столешниках приспосабливалось к окружающим условиям. Хозяин с утра исчезал, неожиданно появлялся на несколько минут, возбужденный, возмущенный, переполненный впечатлениями, бегло и торопливо записывал что-то у себя в рабочей комнате и опять исчезал. Большая комната в Столешниках как-то естественно превратилась во временный лазарет. Сначала в Столешники приводили раненых знакомые с семьей Гиляровского студенты, дравшиеся на баррикадах соседних улиц; потом стали приводить раненых и малознакомые люди, узнавшие, что в квартире дяди Гиляя оказывается медицинская помощь. Раненых размещали на диване, на кроватях, на полу, на стульях.

Семья Гиляровского и студенческая молодежь, друзья Надежды Владимировны оказывали раненым помощь, делали перевязки. Тяжелораненые оставались в квартире, а легкораненых через черный ход выводили на улицу, и они шли по домам. В больницы раненых, как правило, не направляли, так как им грозил арест.

Дядя Гиляй заходил в лазарет, ласковой, ободряющей шуткой поднимал настроение раненых. Со свойственным его натуре оптимизмом, он горячо и убеж-

денно утверждал, что самое главное в жизни — не вешать головы, не опускать рук и что «наша в конце концов возьмет верх».

День и ночь на 17 декабря прошли в напряженнейшей обстановке. Вскоре стало ясно, что героическая Пресня залита кровью. Восстание потерпело поражение. Московский градоначальник барон Медем доносил царю: «Мятеж кончается волей мятежников, а к истреблению последних упущен случай».

На улицах замелькали пешеходы, застучали колеса пролеток, заскрипели по снегу полозья санок. Из Столешников разбрелись легкораненые, а остальных с помощью товарищей и друзей стали развозить по домам.

19-го утром Владимир Алексеевич отправился на Пресню — на поля недавних сражений — и, возвратившись, сказал:

— Очистили улицы, сожгли Шмита, наломали дров у Прохорова, но духа не угасили, пламя горит, и Мину его не затушить.

Началась спешная уборка остатков разрушенных баррикад на московских улицах. Боевые действия перекинулись на пригородные станции Казанской железной дороги, где карательная экспедиция полковника Римана пулями и расстрелами завершала разгром первой русской революции.

События на Казанской железной дороге в течение нескольких недель взволнованно обсуждались в Столешниках. Некоторые очевидцы побывали в Столешниках и поделились со своим другом впечатлениями о том, что пришлось им увидеть и пережить.

— Как же мне не зайти и не рассказать вам, Владимир Алексеевич,— сказал один из железнодорожных служащих, живший в Малаховке и хорошо знавший семью писателя.— Помните, как мы подолгу дружески разговаривали на ступеньках терраски вашей красковской дачки, а Антон Павлович вставлял забавные словечки в ваш или мой рассказ. Я убежден, что вы обязательно напишете об Ухтомском. О таком человеке нельзя не написать!

О многих эпизодах карательной экспедиции Ри-

мана узнали в Столешниках. Гиляровский внимательно выслушивал рассказы очевидцев, и только по тому, как он сжимал в руках табакерку, с которой никогда не расставался, можно было судить о переживаниях, о гневе и возмущении этого сильного, много видевшего в жизни человека.

Около полудня 16 декабря в Столешники забежали двое рабочих ремонтных мастерских Казанской железной дороги. Они сообщили, что ранним утром после долгих усилий по разогреванию замерзших паровозных топок и составления неумелыми руками — умелые руки бастовали — двух железнодорожных составов отправились два поезда к станциям Сортировочная, Перово, Люберцы, Голутвин; один — с тремя вагонами, другой — с двадцатью пятью. Они нагружены солдатами, пушками, пулеметами.

До момента возвращения в Москву солдат из карательной экспедиции в Столешники долетали только отрывочные известия о расправах. Ясной картины всего происходящего еще не было. И только после того, как карательная экспедиция была закончена, газеты стали сообщать, правда очень осторожно, о некоторых фактах. Эти «события», как писалось тогда в газетах, унесли не менее двухсот жизней. В Столешники несколько раз приходили родственники расстрелянных. Одни появлялись со слезами на глазах, в глазах других застыл ужас от только что пережитого, третьи кипели гневом. Владимир Алексеевич молча слушал их рассказы, торопливо записывал что-то на листках бумаги.

— Война — это война, а бойня всегда, на веки вечные остается бойней,— заметил он после одного бесхитростного, но страшного именно своей бесхитростностью рассказа.

Много было выслушано в Столешниках о последних часах жизни машиниста А. В. Ухтомского. Эти рассказы вызывали и глубочайшую боль за гибель человека, и восхищение красотой и благородством его сердца, его несгибаемой волей. Ухтомский отважно, с риском для жизни вывел из-под пулеметного обстрела царских войск поезд дружинников-железнодорожников.

— Я знал,— говорил Ухтомский,— что мое сердце



Обложка книги В. А. Гиляровского «На родине Гоголя».

и руки выдержат, а вот выдержит ли напряжение паровой котел, я был не уверен. Оказалось, что и сердце и котел выдержали, и все товарищи были спасены от неминуемой смерти.

Ухтомский бывал в Столешниках еще до начала всеобщей забастовки. Среди многочисленных людей, приходивших по газетным делам к Владимиру Алексеевичу, Ухтомский не мог не останавливать на себе внимания. Это был человек небольшого роста, с живыми, сверкавшими умом и смекалкой глазами, очень скромно, даже застенчиво, державшийся. Владимир Алексеевич никогда не рассказывал домашним об этом отважном человеке. Только однажды после посещения Ухтомского Марья Ивановна сказала:

— Какие удивительные глаза у этого человека, Гиляй: и бесконечной доброты, и какой-то непоколебимой веры.

— Это один из машинистов Казанки, я его давно знаю, Маня. Упористый человек. Этого голыми руками не возьмешь. Хоть с виду и скромный, но голову держит независимо и склонить ее никому не позволит.

— Вы будете расстреляны,— сказал Ухтомскому после ареста один из офицеров карательного отряда Римана.

— Я так и думал,— ответил ему с полным самообладанием Ухтомский.

Ухтомский спокойно вышел из помещения, где был

взят, твердо зная, что через несколько минут будет расстрелян. Он шел по рельсовым путям к близлежащему леску и что-то успокаивающе говорил трем своим товарищам, которых также вели на расстрел. Когда остановились, Ухтомский расстегнул куртку и приказ повернуться спиной к солдатам не выполнил.

— Сейчас,— произнес Ухтомский, глядя, как солдаты готовили винтовки,— вам предстоит исполнить долг согласно вашей присяге. Исполняйте его так же, как исполняю свою присягу я, верный своему народу. Только присяги у нас разные, и служим мы разному делу.

Первым залпом были убиты товарищи Ухтомского. Сам он стоял неподвижно, глядя в глаза стрелявшим. Второй залп ранил его. Он был убит офицером выстрелом в голову.

Гиляровский много раз вспоминал подробности гибели Ухтомского, неоднократно возвращался к ней, и всякий раз глаза его темнели.

— Страшно теперь снимать дачи по Казанке, там еще не рассеялись запахи крови и порохового дыма,— сказал как-то В. Я. Брюсов.

— Лучше дышать духотой и пылью московских улиц и переулков, чем чистым воздухом полей, который в последний раз вдохнули Ухтомский и его друзья,— сказал Гиляровский.

Остались в памяти молодые писатели, которые позднее вошли в историю родной литературы как «знаньевцы». Их признанным вожаком был А. М. Горький. С сентября по середину декабря 1905 года он жил невдалеке от Столешников, в доме на углу Моховой и Воздвиженки, и изредка заходил к Гиляровскому. Горький заглядывал в Столешники всегда сосредоточенным, малоразговорчивым. Он глубоко и остро переживал события тех дней. Заходя в Столешники, Горький, по обыкновению, садился в столовой или кабинете, клал нога на ногу, поглаживал усы и хрипловатым голосом с явным волжским оканьем настойчиво расспрашивал Владимира Алексеевича о событиях, которые его интересовали.

Сосредоточенно наблюдал декабрьские события и Леонид Андреев, очень болезненно воспринимавший все происходящее в Москве.

— Мрак без просвета! — говорил он.— Но воля живет, она не сломлена, народ дышит! Пускай у него на груди тяжеленная подошва солдатского сапога, пускай сегодня он многого еще не понимает, но он обязательно поймет. Жизнь всегда и всюду ведет к пониманию. Неясное сегодня становится понятным и близким завтра. Это закон, который — хотим мы этого или нет — является движущей силой, обязывает всех нас действовать.

Целый вечер в Столешниках заняли рассказы Александра Серафимовича Попова (Серафимовича). Александр Серафимович был дружен с Владимиром Алексеевичем. Оба они хорошо знали Дон, любили его народ, донские степи с табунами, ковылем, каменными бабами, курганами, а главное, они были людьми от рождения вольнолюбивыми, умными, наблюдательными. Часть этих рассказов Серафимовича позднее была напечатана в сборниках «Знание» или в толстых журналах.

Н. Д. Телешов, приходивший иногда вместе с Серафимовичем, делился своими наблюдениями. Впоследствии он коснулся этих дней в своем творчестве.

Однажды за чайным столом писатели встретились с темпераментным художником-москвичом С. В. Ивановым, давнишним приятелем дяди Гиляя.

С. В. Иванов весь кипел, когда говорил о декабрьских событиях, вскакивал из-за стола, ерошил непокорные волосы, поправлял резкими движениями очки, вытаскивал носовой платок и без конца восклицал:

— Возмутительно! Черт знает что! Есть ли у людей мозги?

В. Я. Брюсов, спокойно сидя на стуле, изредка обращался к художнику:

— Сергей Васильевич! Мировой разум движется по своим, им установленным законам и правилам. Мы должны внимательно вглядываться в эти законы и сопоставлять происходящее с тем, что должно быть в конечном результате.

— Чертова философия, Валерий Яковлевич! — запальчиво сказал Владимир Алексеевич.

Кузнец своего счастья — каждый человек. Когда, жаждущий освобождения, он хватается за булыжник и, выпрямив спину, бросает камень в противника, мы должны всеми силами ободрять его и стараться, чтобы камень попал туда, куда нужно, и с той силой, которая в его полет вложена.

Созерцанию теперь нет места в нашей жизни. Нужно действовать, Валерий Яковлевич, а не наблюдать в позе римлянина, глядящего с форума за исходом кровавой схватки,— возразил Гиляровский.

— Страстность, Владимир Алексеевич, иногда мешает чеканке формы, а без чеканки нет художественного произведения, во всяком случае хорошего.

— Когда дерешься, некогда думать о форме, Валерий Яковлевич. Надо как следует поколотить противника — в этом смысл всякой настоящей драки.

— Литература без забот о форме теряет много из своих художественных возможностей. Мы этого никогда не должны забывать.

Много таких и подобных разговоров было в эти дни конца пятого года в Столешниках.

Киты газетных морей. 6.

Вокруг Гиляровского постоянно были люди газетного и журнального мира, не только сверстники хозяина, но и молодежь, желавшая приобщиться к журналистике, присмотреться к тому, как ведется газетная работа. Каждый день, кроме часов, когда Гиляровский был в редакции, в Столешники приходили газетчики: из «Русских ведомостей» и «Раннего утра», «Утра России» и других московских газет. В этом людском потоке были и начинающие журналисты, пришедшие у Гиляровского поучиться, узнать свежие новости, и маститые газетные «киты». Эти «киты» обладали острыми литературными зубами и завидной ловкостью, что позволяло им увертываться от цензуры и удачно протаскивать через существовавшие рогатки и препоны крамольные и запрещаемые мысли. К таким газетным «китам» в начале века относились Влас Михайлович Дорошевич, Александр Валентинович Амфитеатров и уже состарившийся Алексей Сергеевич Суворин.

Особенно близок к Столешникам был Дорошевич. Его талант и дарование в начале века достигли наибольшего сверкания и газетный авторитет приближался к предельной высоте.

Дорошевича называли королем фельетонистов. Деятельность в газетах «Россия» и «Русское слово», проведенные с большим успехом кампании по пересмотру судебных дел Тальма, а также братьев Скит-

ских, прогремевшая на всю Россию книга «Сахалин», не потерявшая своего значения до настоящего времени, принесли ему известность.

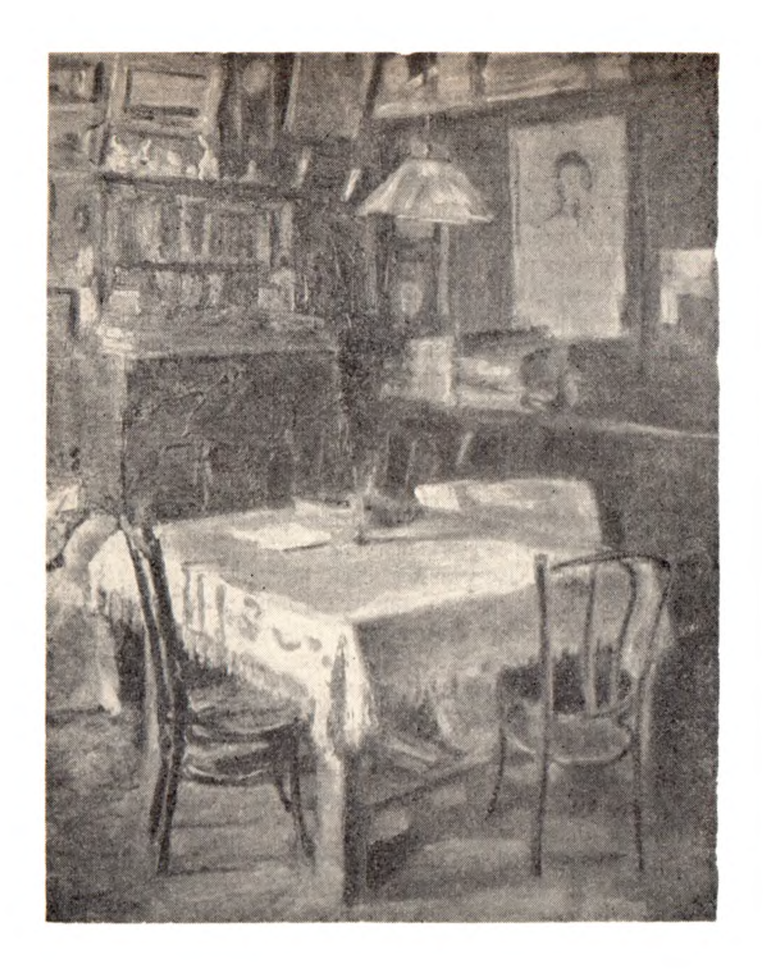
«Русское слово» благодаря замечательному организационному «нюху» Дорошевича и пониманию им читательских запросов из захудалого, почти умиравшего газетного издания превратилось в самую распространенную газету своего времени. Эту газету, в силу ее исключительной информационной осведомленности, читали люди самых противоположных политических взглядов и убеждений, самых разнообразных социальных положений, до дворника и обитателя замоскворецких захолустий, раньше, кроме «Московского листка» ничего не читавших или заглядывавших лишь в отделы забавных городских происшествий, обязательные для каждой газеты.

Дорошевич в начале XX века, в 1904—1905 годы, был уже начавшим тучнеть человеком. Ходил он обычно в пиджаке или визитке, сшитых у лучшего московского портного; иногда нервно проводил рукой по голове, остриженной коротким бобриком, под которым уже угадывалась лысина. Он лениво, по-барски надевал пенсне, говорил капризным голосом, так как привык к тому, что его обязательно слушают, изрекал иногда словечки и остроты, от которых окружавшие не могли не покатываться со смеху, невзирая на свое солидное литературное положение и звание.

Роняя свои коротенькие «дорошевичевские фразы», Влас Михайлович сохранял всегда полнейшую невозмутимость. Только по каким-то, на миг сверкнувшим огонькам и искоркам в уголках глаз можно было судить о сознательности и обдуманности того, что он «подпускал» своим собеседникам.

Влас Михайлович был добрым приятелем Гиляровских, завсегдатаем Столешников. Екатерине Яковлевне Сурковой он казался человеком более деловым, чем «бородатые дяди» из Нижнего Новгорода (Короленко) или из Хамовников (Толстой).

Влас Михайлович любил перекинуться словечком с Марьей Ивановной, которую он почитал за ее рассудительность и спокойствие, видимо особенно им ценимые рядом с буйным темпераментом Гиляровского. С заразительным аппетитом поглощал он необык-



Стол, за которым работал В. А. Гиляровский. Картина А. П. Белыха.

новенные, по его словам, по особому рецепту приготовленные Екатериной Яковлевной Сурковой ватрушки и украинский борщ. Они специально готовились для Власа Михайловича, когда он звонил по телефону и сообщал, что зайдет пообедать.

Иногда вечером редакционный посыльный прибегал, запыхавшись, в Столешники со специальной

запиской к Марье Ивановне. Крупными размашистыми буквами, какими всегда писал Дорошевич, было выведено: «Не осталось ли еще ватрушек, Марья Ивановна? Пишу фельетон!» Марья Ивановна отвечала: «К сожалению, Влас Михайлович, вы все ватрушки прикончили за обедом. Без плиты их, как Вы знаете, печь невозможно». Однажды, уже около полуночи, посыльный принес от Дорошевича записку: «Хотя ватрушек и не было, но фельетон закончил. Прочитайте завтра. *В. Д.*».

— Не забывай, Влас Михайлович,— сказал как-то за столом Гиляровский,— что и у этого поросенка только четыре ноги.

Дядя Гиляй хотел напомнить Дорошевичу о случае в трактире Тестова, когда на слова лакомки, обращенные к официанту: «Принеси-ка, братец, еще ножку», он получил почтительный ответ:

— Простите, Влас Михайлович, но у поросенка только четыре ноги!

— Марья Ивановна при ее кулинарных способностях может и пятую ногу вырастить,— посмеиваясь, отвечал Дорошевич.

— Поросенка, Влас Михайлович, жарила не я, а «Кормила» [1],— ответила Марья Ивановна.

— Тогда давайте за здоровье такого мастера и выпьем! Зови сюда Екатерину Яковлевну, Гиляй!

Екатерина Яковлевна, в длинном фартуке, немного сконфуженная, зарумяненная от долгого стояния у плиты, приходила в столовую. Владимир Алексеевич наливал ей рюмку красного вина, и все шумно пили за ее здоровье и умение вкусно готовить.

В то время уже отошли, канули в лету годы юности, когда Дорошевич и Гиляровский пробовали свои литературные силы в маленьких московских еженедельничках, писали заметки для газет с небольшим тиражом.

— В эту церковь,— сказал как-то Дорошевич, проходя по Никитской,— я часто забегал погреться во время ранней обедни, когда не было где переночевать. Квартиры у меня тогда своей не было. Церковь всегда

---

[1] Так звали в семье Е. Я. Суркову.

хорошо топилась, и староста, стоявший у свечного ящика, был, видимо, добрым человеком. Он приветливо наблюдал, как я, войдя в храм, торопливо пробирался к жарко натопленным печам, чтобы отогреться и обдумать свои планы.

В Столешниках часто вспоминались те незабвенные дни, когда Влас Михайлович, дядя Гиляй и Александр Валентинович работали в журналах. Они выдумывали различные сценки, сочиняли подписи под рисунками и карикатурами, иногда писали ответы в «почтовый ящик», забегали выпить кружку пива или перекусить в ближайшую кухмистерскую, дешевый ресторанчик на Петровке, Бронной, Тверской или в Охотном ряду.

Чехова Дорошевич знал меньше, чем Гиляровский, но, попав в плен удивительнейшего человеческого обаяния писателя, бережно и благоговейно относился к нему, чувствовал будущего автора «Вишневого сада». Много раз приходилось слышать, как Влас Михайлович после смерти Чехова настойчиво напоминал Гиляровскому:

— Гиляй, неужели из своей копилки памяти ты не можешь выудить ничего ценного об Антоне Павловиче? Мы обязаны о нем не только помнить, но и писать, а ты в особенности. Ты ведь Антона Павловича знал, как немногие из нас. Ты обязан писать. Места для Чехова в газете я тебе сколько угодно дам, даже за счет собственных фельетонов.

— Я, Влас, на чужое никогда не зарился! — отвечал Гиляровский. — Действительно, об Антоне Павловиче надо писать. Каждая строчка о нем читается с жадностью. А с каким аппетитом проглотили у нас сборник, выпущенный горьковским «Знанием»!

В это время уже почти был забыт не только читателями, но и самим Власом Михайловичем одесский период работы, который на время разъединил друзей юности. В Одессе талант Дорошевича окреп, возмужал, приобрел жизненную силу. Сотрудничество в петербургской газете «Россия» опять сблизило, сроднило Дорошевича и Гиляровского, а также Амфитеатрова. В «России» дарование Дорошевича пышно расцвело. Здесь он почти ежедневно писал великолепные фельетоны и заметки на злобу дня. В них Дорошевич

не щадил влиятельных вершителей судеб тогдашнего политического мира, не боялся затрагивать их, умел в непринужденных, доходчивых строках касаться самых злободневных вопросов, ударять по серости, мелкотравчатости тогдашнего быта.

В своих фельетонах Дорошевич создавал блестящие литературные портреты многих деятелей искусства Петербурга и Москвы, глубоко проникал в психологию творчества артистов. Петербургские фельетоны Дорошевича в «России» приучали читателей к весомости печатного слова, раскрывали перед ними его силу и значение, заставляли уважать его. Петербург венчал Дорошевича на пост первого фельетониста своего времени. Его фельегоны, напечатанные в нижней части газетного листа, иногда заставляли трепетать сильных мира сего, часто «сбивали с ног» самые стойкие общественные и политические репутации. Сотрудничество в «России» делало Дорошевича влиятельным и солидным газетным «китом», признаваемым всеми — и друзьями и недругами. Работа в «России» принесла Дорошевичу славу блистательного фельетониста, не имевшего соперников.

Гиляровский вел в «России» ежедневную хронику московской жизни. Через проводников курьерского поезда он передавал свои сообщения о всех крупных и мелких городских событиях. На страницах «России» он провел великолепнейшую, чуть не стоившую ему жизни кампанию, которая помогла свергнуть диктатуру дежурной политической марионетки в одном из княжеств Балканского полуострова, разоблачал махинации воротил тогдашнего торгового мира Москвы.

Несмотря на краткость существования «России», она еще больше укрепила дружбу обоих журналистов, сблизила их с А. В. Амфитеатровым.

В «Русское слово» Гиляровский и Дорошевич пришли в расцвете своих творческих сил и возможностей. У обоих уже были книги, а главное, влиятельное положение в журналистском мире. Один утвердился как острый газетный работник, мастер фельетона, автор превосходной книги «Сахалин», другой — как автор «Ниток», приковавших внимание к рабочему вопросу, и книги «Негативы», в которой он приближался к



В. М. Дорошевич.

основной теме своего литературного творчества — Москве и москвичам.

Фельетоны Дорошевича в «Русском слове» читали все — от петербургского министра до московского извозчика. Одни читали их с опаской и боязнью за собственную карьеру, других привлекало в них обличение безобразий и непорядков в государственной и общественной жизни.

— Надо пожаловаться Дорошевичу! Дорошевич должен добраться! Дорошевич должен прохватить! — так частенько говорили о талантливом журналисте, надеясь на силу печатного слова.

Дорошевич всегда с нетерпением ждал появления Гиляровского в редакции. Едва поздоровавшись и усадив его в кресло, обитое зеленым плюшем, как и весь его большой, министерского вида, рабочий кабинет в «Русском слове», Влас Михайлович нетерпеливо спрашивал:

— Какие новости? О чем надо писать? Что задеть и что вскрыть?

Много раз приходилось наблюдать, как во время таких бесед друзья устанавливали себе тематические границы для описания отдельных явлений жизни.

— Ты, Гиляй, бытовик. Ты, как Малый театр, весь в «островщине», а я — Художественный, стремящийся заглянуть за московские границы. Так давай и делить материал. Ты — по сути, а я — вообще, с «высот вечности».

Часто Гиляровский давал Дорошевичу факты, подробности и детали какого-либо события, происшествия, а Дорошевич потом подавал их в фельетонном плане, обобщал, суммировал, делал выводы.

— Гиляй,— сказал как-то Дорошевич,— нужно срочно поехать в Полтаву поговорить со свидетелями по делу Скитских. Мне многое неясно в этом деле, а к воскресенью нужен фельетон. Оправдание Скитских надо довести до конца!

Подробности дел Скитских и Тальма да и некоторых других, которые под влиянием фельетонов Дорошевича были пересмотрены, а обвиняемые оправданы, сейчас, может быть, и не представляют большого интереса, но в свое время вмешательство Дорошевича в эти судебные дела будоражило общественность, под-

нимало авторитет «Русского слова» и необычайно увеличивало его тираж.

Случалось, что за селянкой у Тестова или за стаканом чая в Столешниках друзья распределяли тактические газетные ходы, определяли, что и как надо сделать.

Марья Ивановна, частая слушательница таких бесед, с улыбкой замечала:

— Заговорщики!

— Мы, Марья Ивановна, не заговорщики,— галантно отвечал Влас Михайлович. — Мы просто хотим на примере повседневных фактов показывать, что у нас не так и как против этого бороться. Гиляй — изумительная начинка фактов. Он меня порой ошеломляет неукротимостью своей энергии и находчивостью. Черт его знает, как он ухитряется иногда раскопать такое, что даже представить трудно!

— Жизнь — это прежде всего факты. Только по ним и можно делать те или иные выводы, Влас,— отвечал Гиляровский.

— Вот и умоляю тебя, Гиляй, насыщать газету такими фактами. Факты лучше многих самых умных рассуждений учат тому, что надо, что полезно и за что в первую голову надо браться обеими руками,— добавил Дорошевич.— Вот почему я так щедро пользуюсь иногда твоими фактами, Гиляй. Вот почему я всегда, когда завижу тебя, спрашиваю: «Какие новости?»

— Видимо, у меня,— отвечал Гиляровский,— врожденная потребность снабжать всех новостями. Антон Павлович, бывало, чуть завидя меня, тоже спрашивал: «Какие новости, Гиляй?» — и иногда что-то торопливо записывал в книжку.

— Антон Павлович,— вставила Марья Ивановна,— постоянно интересовался, что происходит в жизни.

— Ведь мы, пишущие, сидим в комнате и часто пропускаем очень много важного, что происходит вокруг. А без «вокруг» писать нельзя. Только «вокруг» и делает жизнь настоящей, насыщает ее содержанием.

— В моей памяти,— продолжала Марья Ивановна,— живо сохраняются вечера на даче в Краскове под Москвой, когда Антон Павлович, сидя на ступеньках террасы и вглядываясь в дали, словно что-то ища

в них, часто повторял: «Дайте мне, Марья Ивановна, тему, только свежую, в печати еще не бывшую, а рассказ я сочиню в мгновение ока. Главное — живая, взятая из жизни тема, а обработка целиком зависит от нашего брата: у рядового она скользнет, не затронув внимания читателя, у талантливого она выйдет занимательной, даст какое-то жизненное обобщение».

— Как злоумышленник, которого ему преподнес Гиляй,— сказал Дорошевич.

— Да, как злоумышленник,— ответила Марья Ивановна.— Вроде бы житейский пустячок, а в чеховской обработке — художественное сверкание, бриллиант в драгоценной оправе! Вот вы и есть злоумышленники. Умышляете, может быть, и не зло, а с добрыми намерениями, на сердца и души читателей.

— Такова наша профессия, Маня,— сказал Гиляровский,— «умышлять» для пользы чутких и внимательных читателей. Разве каждой строчкой не умышляет любимый тобою Михаил Евграфович (Салтыков-Щедрин), не умышляют Антон Павлович, Алексей Максимович? Кстати, Влас, я его на днях увижу в Нижнем. Надо ему что-нибудь передать?

— Кланяйся, скажи, что, как всегда, люблю и желаю здоровья,— ответил Дорошевич.— Талантище, напоенный волжским раздольем и размахом!

Совместная работа в «Русском слове» еще более укрепила дружеские связи Гиляровского и Дорошевича. Влас Михайлович, который к этому времени стал уже оседлым, крепким москвичом, был частым гостем Столешников.

Здесь царила творческая обстановка. Обсуждалось, как подать ту или иную тему, чтобы повысить интерес читателей к газете, придумывались новые. Часто велись разговоры о том, на что надо обратить внимание в следующем номере, на что нажать. После этого собеседники расходились, чтобы написать то, о чем только что шел горячий разговор. Иногда Гиляровский после разговора с Дорошевичем срочно уезжал на раздобычу московской хроники для очередного газетного выпуска.

Уезжая из Москвы в свои любимые длительные путешествия, Дорошевич, беспокоясь за газету, несколько раз повторял:



Интерьер квартиры В. А. Гиляровского.

— Помни, Гиляй, на тебя надеюсь. Гляди в оба. Мы — «Русское слово», выходящее в Москве. Засорять мусором это слово мы права не имеем! Если нужно, числом слов в телеграммах не стесняйся. Все почтовые расходы к гонорару приписаны будут.

Одно время Дорошевич снимал квартиру в Столешниковом переулке, в доме напротив квартиры Гиляровского. Часто можно было видеть, как большая, грузная фигура Дорошевича в широкополой шляпе пересекала переулок, всегда переполненный извозчичьими и собственными экипажами, густой, торопливой толпой. Близорукость мешала Дорошевичу двигаться быстро и уверенно.

— Это ты оттого так величественно выступаешь на улице, чтобы знали, что ты голова газеты, за которую каждый жадно хватается каждое утро,— шутил иногда дядя Гиляй.

— У меня таких здоровенных локтей, как у тебя, Гиляй, нет,— отвечал Дорошевич.— Они тебя на Ходынке от преждевременной смерти выручили, а я бы, наверное, там косточки свои сложил.

Постоянный извозчик от Ечкина бессменно дежу-

рил у ворот корзинкинского дома в Столешниках, но Дорошевич моциона ради пешком отправлялся в редакцию на Страстном бульваре и, по обыкновению, заходил на минутку в Столешники. Минутка иногда затягивалась, особенно если дядя Гиляй ставил на стол бутылочку красного, приобретенного в заповедном голицынском подвале, до которого оба были охотники.

— Хоть я Шампань вдоль и поперек изъездил и даже несколько раз удостаивался пробовать особенно ценные коллекционные вина, но красное вино Голицына не променяю ни на что,— говаривал Дорошевич.

— Французскую лозу собственноручно из Шампани Сергей Михайлович (Голицын) привез,— отвечал Гиляровский.

— Важно, Гиляй, не лозу привезти, это штука не трудная. Важно лозу эту к нашей кавказской земле приспособить. Примечательно не то, что дьяки наши, «в приказах поседелые», мудрости разные из Византии вывезли или Петр I навыки корабельные в Голландии изучал, а что все это для наших российских нужд приспособилось. В этом вся суть!

В Испании тоже знают толк в винах, но испанские виноградные лозы нам удачно приспособить, как французские, не удалось. Испанских Голицыных у нас не оказалось.

Среди открыток и телеграмм, которые Влас Михайлович щедро слал из разных европейских мест, помнится одна, написанная его крепким, уверенным почерком,— из небольшого испанского городка Хереса: «Гиляй, хоть я и не муха, но попал в Херес!»

«Тоже не мухи, но за твое здоровье и скорейшее возвращение пьем голицынское»,— ответил ему тотчас же Гиляровский.

Искрометными, иного слова не подберешь, бывали многие беседы, которые велись в Столешниках в присутствии Дорошевича. Его блеск, остроумие, краткость, яркость определений, которые часто становились афоризмами, превращали беседы в блистательные феерические состязания.

Незабываемыми сохраняются в памяти беседы, в которых принимал участие Ф. И. Шаляпин. Друже-

ское сближение Шаляпина с Дорошевичем началось, кажется, со Столешников, где оба талантливых человека часто встречались и за чайным столом, и в рабочей комнате хозяина. Любимец Москвы, мировая слава которого росла не по дням, а по часам, Шаляпин частенько, с укоризной поглядывая на Дорошевича, шутливо говаривал:

— А как птичка божья?!

Этой «птичкой» певец напоминал о случае, который произошел с Дорошевичем в Большом театре, когда артист пел одну из своих ответственнейших арий в «Борисе Годунове». Дорошевич и семья Гиляровских смотрели спектакль из ложи бельэтажа. Марья Ивановна молча протянула Власу Михайловичу принесенную им коробку с конфетами, на что он церемонно, но достаточно громко ответил своим хрипловатым голосом: «Ах, конфект я не клюю, не хочу я чаю, в поле мошек я ловлю, зернышки сбираю!..» Произнесенные Дорошевичем слова долетели до сидящих в соседних ложах зрителей и вызвали всеобщий хохот.

Шаляпин после знакомства с Дорошевичем, узнав об этом случае, сказал:

— Неплохое начало для фельетона о моем исполнении Бориса, Влас Михайлович!

Своеобразным искуплением этой вины явились яркие фельетоны и рецензии Дорошевича на исполнение певцом партий в «Мефистофеле» и «Демоне». До сегодняшних дней они почитаются великолепными, не имеют себе равных. Они читаются без всяких дополнений и комментариев, звучат как только что написанные, хотя с момента их опубликования пролетело более полувека. Как живой, встает в них гений Шаляпина.

Памятным осталось чтение в Столешниках фельетона Дорошевича о выступлении Шаляпина в знаменитом миланском театре «Ла Скала» в бойтовском «Мефистофеле». Фельетон был принесен еще в гранках и вызвал всеобщее восхищение. В нем развернулись лучшие стороны литературного дарования Дорошевича.

В коротких фразах и строчках Дорошевич запечатлел пластические образы, созданные Шаляпиным,

его сценические движения, передал их выразительность и трепетность.

— Неужели, Влас Михайлович, все это так, как описано вами в «Сахалине»? — спросил как-то Дорошевича Шаляпин.— На газетных листах сообщения о Сахалине поражали не так, как в книге с производящими неотразимое впечатление фотографиями.

— Все точно, Федор Иванович! Как свидетельское показание! Даже с долей смягчения при изложении некоторых фактов, с облитературиванием, если хотите. Чеховский «Сахалин», написанный пером такого удивительного писателя, бьет цифрами, выводами, холодом неумолимых статистических сопоставлений. Мой «Сахалин» другой. Как журналист, я всегда боюсь цифр,— говорил Дорошевич.— Они мне кажутся плохими помощниками для воздействия на читательские души. Я больше надеюсь на словесную аргументацию, на эмоциональность сообщаемого факта.

Не мне, конечно,— продолжал Дорошевич,— соревноваться с Антоном Павловичем в силе эмоционального воздействия на читателей. Я отлично помню слова Виктора Александровича Гольцова о том, что Чехов своим «Сахалином» старался доказать, что он способен написать «серьезную книгу».

Главная «серьезность» Антона Павловича все-таки в «Степи», в «Скучной истории», в «Палате № 6», в «Сирене», в «Дочери Альбиона» и в десятках других небольших произведений, но, видимо, Антону Павловичу было необходимо предпринять труднейшее путешествие на Сахалин, чтобы написать эту книгу.

— Влас Михайлович,— спросила как-то Марья Ивановна,— не было никакой связи, что вы почти одновременно с Антоном Павловичем взялись за Сахалин и, не страшась неизбежных в таком путешествии трудностей, отправились в путь?

— Тяга к экзотике! Модная тема! — проговорил Федор Иванович Шаляпин.

— Тебя бы, черта, в такую экзотику втиснуть, в такую моду одеть! — заметил с подчеркнутой резковатостью хозяин.— Ты бы не таким басом греметь начал. Петуха мог бы подпустить, Федя...

— Да, от сахалинской действительности все может быть...— проговорил Дорошевич.— Помню отлично, как, слушая один из моих рассказов о Сахалине, Антон Павлович вынул платок, отер им шею и сказал: «Холодный пот выступает, когда вспоминаешь, что приходилось там видеть».

Гиляровский считал, что «Сахалин» Дорошевича нужен, как нужен «Сахалин» Антона Павловича, что эти книги будут напоминать людям о тех сторонах жизни, которые забываются. Не раз говорил Гиляровский, что если и сохранится что о нашем времени, так это шаляпинский Мефистофель, книга о Сахалине.

— Я убежден, что к ней будут возвращаться потомки, будут переживать, читая нарисованную тобой страшную, нечеловеческую жизнь на острове. Когда-то на Сахалине, может быть, курорт будет или какой-нибудь невиданной мощности фабричный район, а может, что-то другое.

Литература настоящая, идущая от души, сердца и мозга человека, обладает какой-то дьявольской силой и на длительнейшие времена сохраняет живое ощущение человеческих чувств, живое ощущение давно прошедших событий, даже при условии, что они будут казаться читателям фантасмагорией,— развивал свою мысль Гиляровский.

— Поэтому да здравствуют Гомер, Софокл, Эврипид,— ответил Шаляпин.

— И наш светозарный Александр Сергеевич Пушкин,— добавил Гиляровский.

— А также и многие иже с ними,— вставил Дорошевич.

— Аминь! — сказала Марья Ивановна с улыбкой и предложила налить чаю.

— Марья Ивановна,— сказал как-то А. В. Амфитеатров за вечерним чаем,— знаете ли вы, насколько велика популярность Власа? Мы с ним жили недалеко от вас, в гостинице «Дрезден». Влас заболел. Не знаю откуда, девушки с Тверской, Петровки и Кузнецкого моста узнали об этом, они замучили нашего гостиничного швейцара. «Мочи от них, Александр Валентинович, для меня во время болезни Власа Михайловича не было,— говорил швейцар.— По нескольку раз в

день забегали, цветы приносили. Одна даже всплакнула, передавая для больного букет фиалочек. Я отнес эти фиалки Власу Михайловичу и рассказал ему, как они, уличные девушки, здоровьем его интересуются. Влас Михайлович вскинул на нос пенсне и, глядя на меня, сказал:

«Души-то у них в тысячу раз лучше наших. Только вот жизнь сложилась не так, как надо. Удивительнейшие среди них люди встречаются. Недаром Федор Михайлович (Достоевский) столько о них волнующих страниц написал. Заслужили они это. Своим трудным заработком».

А я,— продолжал по словам Амфитеатрова, швейцар,— всех успокаивал:

«Поправляется, девоньки милые! Поправляется! Скоро опять его фельетонами зачитываться будете».

Вот, Марья Ивановна, какова популярность и известность Власа! Даже в такие уголки Москвы его сочинения проникали, что нам и во сне не может присниться.

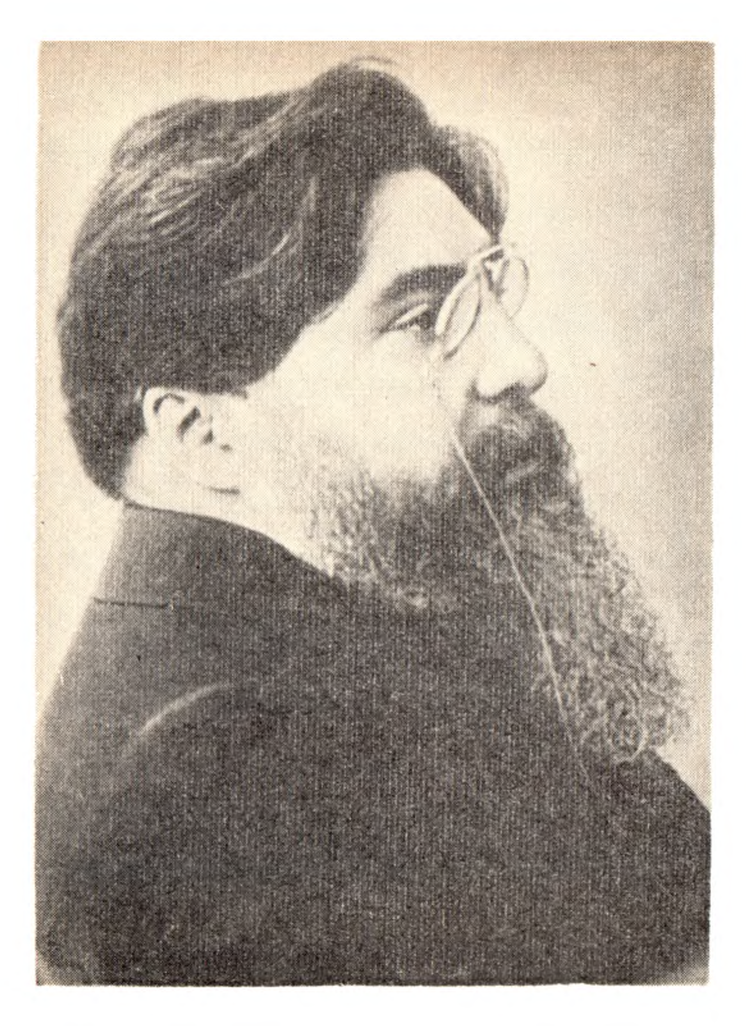
Многое из напечатанного Дорошевичем было мимолетным, случайным, отданным злобе дня, но очень многое еще звучит и сейчас, так как создано словом и мыслью одаренного человека, переживавшего общественные недуги своего времени.

— У тебя, Гиляй, легче, чем в других местах, думается. Многое проступает яснее,— замечал иногда Дорошевич.— Может, это от тебя, от твоей непоседливости, а может, и от самого воздуха квартиры.

Люблю я у вас посидеть,— говаривал Дорошевич, обращаясь к Марье Ивановне.— Сосредоточенность как-то сама собой приходит. Я балет тоже люблю. Сидишь, смотришь, слушаешь, и за вечер фельетон сам собой сложится. Придешь домой или в редакцию, сядешь — глядишь, фельетон готов. У вас за столом чай пьешь, а в голове что-то помимо воли откладывается.

— От людей, может, Влас Михайлович, с которыми здесь сталкиваетесь,— отвечала Марья Ивановна.

— Столешники — это Столешники! — говорил Дорошевич, улыбаясь и протягивая хозяйке пустой чайный стакан.



А. В. Амфитеатров.

Прочно и общепризнанно числившийся в «китах» Александр Валентинович Амфитеатров по внешнему своему обличию был более «китообразным», чем Влас Михайлович Дорошевич.

Грузный, тучный, с тяжеловатой походкой, мяг-

кими, добродушными движениями, с большой головой, умно, зорко и внимательно смотревшими глазами, Александр Валентинович Амфитеатров был близорук, как и Дорошевич, и постоянно пользовался пенсне. В отличие от последнего он вместо бобрика носил бороду и густые волосы.

— Это все, что у меня от нашего поповского рода сохраняется [1],— говорил он, запустив при оживленном, горячем споре широченную пятерню в спадающие на лоб густые мягкие волосы.— И у Володьки такая же шевелюра. Это у нас, видимо, крепко в роду,— говорил Амфитеатров о своем сыне, начавшем очень удачно работать в московских газетах в десятых годах нового века.

Высокий лоб красивой лепки, привлекательные черты лица делали Амфитеатрова похожим на артиста, уже познавшего успех у публики.

Александр Валентинович рано занялся журнальной и газетной работой, которая и свела его с Чеховым, Дорошевичем и Гиляровским. Он обладал хорошим голосом и мечтал стать оперным певцом. Одно время Амфитеатров даже антрепренерствовал, кажется, в Тифлисе, но быстро прогорел и вернулся вновь в московский литературный стан, заработав четверостишие дяди Гиляя, кончавшееся так:

Лучше был бы ты Театров
И ходил в амфитеатр...

О своем «музыкальном прошлом», как говорил Амфитеатров, он распространяться не любил. Единственной пользой от вокальных его увлечений было то, что он хорошо узнал многих певцов, дирижеров и музыкантов, научился писать рецензии на оперные постановки.

1904-й и начало 1905 года Амфитеатров встретил за границей, куда ему пришлось отбыть после высылки за опубликование в «России» фельетона «Господа Обмановы».

Однако и издалека Амфитеатров энергично со-

---

[1] Отец А. В. Амфитеатрова, священник одной из кремлевских церковок, славился проповедями, привлекавшими многочисленных прихожан.

трудничал в русских газетах — в петербургской «Руси» и в ее продолжениях, выходивших под другими названиями, изредка в газетах Одессы и Киева.

Статьи Амфитеатрова всегда были весомы, обладали силой и ударностью, отличались непосредственностью впечатлений, солидно оценивали происходившие события. Газетные выступления Амфитеатрова этого времени носили характер воспоминаний о людях или о событиях, непосредственным свидетелем и участником которых бывал Амфитеатров. В Столешниках при чтении этих произведений постоянно возникали оживленные споры. Комментарии собеседников, обсуждавших написанное Амфитеатровым, часто принимали любопытнейший характер, оттенки и добавления придавали людям и событиям более впечатляющий вид. С большим интересом слушали, как Гиляровский комментировал некоторые колоритнейшие эпизоды или рассказывал о тех, кто был прототипом амфитеатровских литературных героев в его книгах «Восьмидесятники», «Девятидесятники» и «Закат старого века», которые покупались нарасхват. В этих книгах были изображены, не особенно даже завуалированно, подлинные герои петербургской и московской хроник. Большинство их еще действовали, творили, наполняя жизнь и добрыми деяниями, и ненужными ошибками.

Амфитеатров близко знал Антона Павловича Чехова, сотрудничал с ним во многих московских еженедельниках. В стихотворении, напечатанном им как непосредственный душевный отклик на только что полученное в Вологде известие о смерти Чехова, Амфитеатров писал: «Нет, я не знал, как я тебя любил».

Чеховское очарование было незабываемым, оно продолжало держать в плену души и сердца всех, кто недавно с тяжелой печалью провожал писателя в последний путь на Новодевичье кладбище. От Чехова нити разговоров перекидывались обычно к уже далеким дням, связанным с литературной Москвой 80—90-х годов, с «Россией», где расцвели дарования Дорошевича, Амфитеатрова и Гиляровского.

Привыкший, чтобы его внимательно слушали или, во всяком случае, прислушивались к нему, Амфитеат-

ров говорил всегда интересно и содержательно, с убежденностью человека «видавшего виды», знавшего множество людей, и притом людей незаурядных. Амфитеатров как-то всегда реально ощущался в Столешниках, настолько было близко и непосредственно его участие в делах и днях людей, здесь бывавших.

Всеми корнями своего существа, всеми своими связями, интересом к быту, к родной истории Амфитеатров уходил в Москву, теснейшим образом примыкал к московской литературной среде.

Совместная работа в «России», почти ежедневные телефонные разговоры между Петербургом и Москвой еще более сблизили, сдружили старую литературную когорту. Даже шумное административное закрытие «России» не ослабило их дружеских связей. Известно, что закрытие «России» последовало как кара за опубликование Амфитеатровым фельетона «Господа Обмановы».

В этом фельетоне под довольно прозрачными и легко угадываемыми псевдонимами были сатирически обрисованы последний самодержец и его влиятельный «тятенька» — Александр III. Автора «Господ Обмановых» для «охлаждения чувств» выслали на поселение в Вологду.

На пути в Вологду Амфитеатров, проезжая через Москву, заглянул, конечно, в Столешники. Был он взволнован, в возбужденном состоянии. Через несколько недель после водворения в Вологде, к праздникам, Амфитеатров прислал в Столешники откормленного гуся. В записке он написал:

«Съешьте с аппетитом, потому что такую вкусную штуку надо есть именно с чувством и расстановкой».

В виде приписки перед подписью стояла пушкинская фраза: «Трюфли Яра поминать».

В ящике рабочего стола Гиляровского долго хранилась косточка от лапки этого гуся, съеденного с большим аппетитом и запитого красным голицынским вином.

— Не возражаю против еще одного такого гуся,— сказал Дорошевич, доканчивая вторую порцию.

— Может, завтра? — спросил дядя Гиляй.

— Нет, сегодня,— возразил Дорошевич.

Каждый приход Амфитеатрова в Столешники был всегда радостным праздником и для Гиляровских, и для всех посетителей их дома. А в один из наездов Амфитеатрова в Москву — это было, кажется, после празднования пасхи — Александр Валентинович рассказал о поразившем его в юные годы факте.

— Мой отец,— начал Амфитеатров,— был священником одной из церквей в Кремле. Церковь была около самой кремлевской стены, против Большого дворца. Я бывал на многих службах в Кремле, хотя, как и подобало сыну священнослужителя, был неверующим.

Во время одной из служб после заутрени, когда молящиеся причащались, то есть выпивали ложку красного вина с частицами хлеба, монашествующие и церковные чины по человеческой слабости несколько злоупотребили вином и, естественно, захмелели. Я из любопытства остался посмотреть, как они будут подходить под благословение своего владыки.

Верите ли, Марья Ивановна, я стал свидетелем чуда, свершившегося на моих глазах. Монахи, приближаясь к своему духовному владыке, видимо, от сильного нервного возбуждения, рождаемого страхом или боязнью, мгновенно трезвели. Я за чудеса,— с улыбкой поглядывая через пенсне на окружающих, закончил Амфитеатров.

Вернувшись в 1916 году из-за границы и поселившись в Петрограде, Амфитеатров начал звонить по телефону и соблазнять Гиляровского большими гонорарами в газету «Русская воля», где он предлагал ему взять на себя московский отдел. Но все было безрезультатно.

— Что-то не тем маслом попахивают блюда этой газеты,— бросал иногда реплики дядя Гиляй, окончив телефонный разговор.

В феврале 1917 года Амфитеатров опять заехал в Столешники по пути в ссылку на север за какие-то не понравившиеся тогдашнему премьер-министру Штюрмеру строки.

— Еду ненадолго. Очень скоро вернусь,— сказал Амфитеатров, прощаясь в передней.— Дела романовской России на исходе. Даже гуся вам не успею

прислать,— добавил он, вспомнив, как присылал гуся из Вологды во время своей первой высылки, в 1904 году.— Не потому, что на севере теперь гусей не найти, а просто времени на это не хватит.

А за несколько минут до этого, допивая чай в столовой, Амфитеатров говорил:

— Вернусь с севера и, знаешь, чем займусь, Гиляй? Опишу свое литературное скитальчество, начиная с наших с тобой юношеских блужданий по московским журнальчикам. Покажу это на широком литературном полотне. В центре поставлю Антона Павловича и подробно расскажу, что он для нас, тогдашней молодежи, значил. О нем я писал наскоками, от случая к случаю, а сейчас хочется сделать его настоящий литературный портрет.

Тебе тоже, Гиляй, этим надо заняться. Очень немного уже остается чеховских друзей, которые начинали вместе с ним по московским журнальчикам. А ведь это была интересная пора! В «Будильнике», «Осколках», «Зрителе», «Свете и тенях» развертывали свои дарования многие из тех, кто втайне мечтал попасть в классики.

Мы, Гиляй, как очевидцы, многое можем вспомнить и рассказать. Мы с тобой непосредственные участники многих московских и петербургских газет. А ведь у нас не написано еще настоящей истории газетного дела. Многие из наших газетных деятелей давно заслужили, чтобы о них подробней рассказать.

— Я думаю, что это нужно, Александр Валентинович,— заметил Гиляровский.— Пора вспомнить кое о ком из газетчиков — ведь много среди них талантливых, одаренных людей. Умрут, не успев рассказать о себе, и баста. У нас лишь хватает времени на то, чтобы короткий некролог об ушедших написать. А разве в нем многое скажешь...

Ты,— продолжал Гиляровский, обращаясь к Амфитеатрову,— отдельными черточками зарисовал коекого в «Восьмидесятниках» и «Девятидесятниках», но на этом ограничиваться нельзя. Этого, друг, мало. Они заслуживают большего.

Знаешь, что мне Влас Михайлович сказал, когда я принес ему однажды строк триста об одном скоро-

постижно скончавшемся актере? — спросил Гиляровский. — «Гиляй, — сказал он, — тебе начинает изменять чутье и такт журналиста. У нас на Тверской места для покойников дороже, чем в Новодевичьем и Донском монастырях. Сохрани эти строки до того времени, когда мемуары писать начнешь». Сократил, что поделаешь!

— Вот почему, возвратясь в Питер, я и хочу заняться днями моей литературной юности.

— Вряд ли выйдет что, Александр Валентинович. Попадешь опять в кипучую переделку, где не до прошлого будет.

— Нет, самый раз будет оглянуться назад. Начнется новая жизнь!

— Воспоминания, — медленно проговорил Гиляровский. — А ведь, пожалуй, друг мой, это и не только воспоминания, не только вчерашний день, а рассказы о том, что в какой-то мере живет и развивается в наши дни. Разве кто-нибудь, кроме тебя, может лучше и подробнее рассказать о «России», как она начинала, как делала первые шаги? Ведь «Россия» не рядовое явление! Разве подробнее тебя может кто-нибудь рассказать о том, как крепло и развивалось газетное дело в нашей стране, об отдельных видных сотрудниках? В газетах и до нас были не одни воробушки! Иногда и орлы парили над страницами.

— Вроде тебя, Гиляй!

— Какой я орел! Я только страстно люблю Москву. Готов всем пожертвовать для нее.

— Да ведь Москва — сердце России, Гиляй! Ты через нее жизнь всего народа освещаешь.

— Конечно, сердце, да и не только сердце, — вставил дядя Гиляй. — А для газеты это только каждодневная информация.

— Информация информации рознь. Разные они бывают, Гиляй! Разве твои корреспонденции из Сербии о покушении на Милана информация? Это уже политика!

— Пожалуй, ты прав, Александр Валентинович. Пожалуй, это политика, если учесть, что мне грозило за мои телеграммы в «Россию» о Милане висеть на веревке, если бы не удалось перебраться вплавь через Дунай.

— А твои информации о деяниях московской чайной фирмы Губкина и Кузнецова?

— За них я получил даже письменную благодарность от рабочих. Сердечно благодарили за вмешательство и заступничество.

— Вот видишь, а ты — информация... А твои материалы о волнениях на фабриках Морозова, о спичечном производстве? Только газетчик полностью это оценит! Нет, это больше, чем информация. Не скромничай.

— Да и ты не скромничай, Александр Валентинович. Твои и Власа Михайловича статьи не раз будоражили честных русских людей, заставляли почесываться власть имущих. Ты должен обязательно написать подробнее о появлении в печати «Господ Обмановых», подробнее, чем ты это в свое время сделал в парижском «Красном знамени».

— Молоды были, Гиляй! Кипучая кровь играла!

— Ты и напиши об этой игре кипучей крови. Да, кстати, и коснись, как создавалась «Русь». Много интересного ты можешь рассказать, Александр Валентинович... Захвати и газету «Вечернее время». Там ведь много было любопытнейших людей.

— Нашу действительность, Гиляй, должен описывать современный Достоевский. Она переплескивает рамки обыденного.

— Вообще, о «Руси» надо обязательно написать. Это будет главка для будущей истории русской журналистики. Опубликовав сообщения о зверской расправе семеновцев на Казанской железной дороге, «Русь» сделала большое дело, и роль ее, конечно, замалчивать не следует.

Писать, писать! Это, бесспорно, наш долг! Жаль только, что силенок становится меньше. Иногда тянет посидеть просто так, за стаканом доброго красного вина, чем писать что-то. А писать надо! Необходимо! Это долг перед народом и страной. Они нас вырастили, вооружили пером не только для литературных драк, но и для серьезной защиты всего, что дорого, что свято!

— Да, Александр Валентинович! Правдивое, честное слово, идущее из глубины души,— могучее оружие. Оно силой своей правды всякую нечисть сме-

тает. Только надо, чтобы оно, это оружие, не попадало в грязные руки.

— У нас с тобой, Гиляй, руки чистые. Может, мы, как все люди, иногда и ошибаемся, но ошибаемся честно, и за это нас можно оправдать.

— Уже оправдали! К нашим словам читатели прислушиваются, они верят нам. Это большая честь!

Весь этот разговор происходил в обстановке предотъездной торопливости, запомнился так, как будто это было вчера, а не более полувека назад. Живыми встают в памяти эти люди, хотя уже давным-давно нет ни Александра Валентиновича, ни Власа Михайловича, ни Владимира Алексеевича. Гиляровский покоится в тишине Новодевичьего кладбища, Амфитеатров — где-то на чужбине, Влас Михайлович — в Ленинграде. Люди, которые знали их, будут помнить о них долго.

Несмотря на все оговорки, связанные в основном с газетой «Новое время», об Алексее Сергеевиче Суворине следует вспомнить как о даровитом журналисте[1]. В первые годы своей работы он был в рядах

---

[1] Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912) — русский публицист, издатель, беллетрист. С 1858 г. выступал в провинциальных изданиях как беллетрист либерального направления. В 1861 г. переехал в Москву и стал сотрудником «Русской речи», печатался в «Современнике», «Отечественных записках» и др. С декабря 1862 г. жил в Петербурге; в 1863—1875 гг. сотрудничал в «Санкт-Петербургских ведомостях», в 1875—1876 гг.— в «Биржевых ведомостях». Роман Суворина «Всякие» (1866 г.), отличавшийся либеральными, антикрепостническими тенденциями, был уничтожен по приговору суда, а автор подвергнут аресту. В 1876 г. Суворин стал владельцем газеты «Новое время», которая отличалась реакционным, националистическим направлением. В 1911 г. Суворин учредил издательство «Новое время», создал «Контрагентство печати», занимавшееся распространением периодических и других печатных изданий.

В статье «Карьера» (1912 г.), написанной в связи со смертью Суворина, В. И. Ленин говорил, что этот журналист «историей своей жизни отразил и выразил очень интересный период в истории всего русского буржуазного общества. Бедняк, либерал и демократ в начале своего жизненного пути,— миллионер, самодовольный и бесстыдный хвалитель буржуазии, пресмыкающийся перед всяким поворотом политики власть имущих в конце этого пути» (**Прим. редакции**).

либеральной русской журналистики, хорошо знал лучших людей нашей литературы, театра и искусства.

В 900-е годы Суворин уже «не звучал», не имел былой остроты, был далек от Столешников, но его литературная весомость все же чувствовалась. Помнились еще его дружеские отношения с Антоном Павловичем Чеховым. Алексей Сергеевич Суворин хотя и числился «китом» газетного мира, но скорее из почтительности, по памяти, по работе прошлых лет, особенно в «Петербургских ведомостях» 70-х годов прошлого века. Весь он уже был в прошлом. Его дела, и по времени и по результатам, принадлежали прошлому, и его имя называлось без положительных эмоций.

Вся деятельность Суворина и в годы расцвета, и тогда, когда его перо и ум уже перестали служить идеалам и верованиям, которыми жили передовые люди того времени, прошла в Петербурге, в либеральных «Петербургских ведомостях». В этот период Суворин стал автором ряда драматических произведений, тонким и наблюдательным театральным критиком, а затем и хозяином собственного театрального предприятия, на которое он сам, кажется, смотрел как на прихоть богатого человека, а не как на серьезное дело.

С Москвой Суворин связан мало, бывал в ней только наездами, когда отправлялся на свою дачу под Феодосией или возвращался с нее, и останавливался, как правило, в «Славянском базаре». Деловые его отношения с Москвой ограничивались только тем, что он заходил взглянуть в свой большой книжный магазин на углу Кузнецкого моста и Неглинной или забегал, как старый театрал, в Малый или Художественный.

В Столешниках Суворин бывал редко. Но он хорошо помнил Гиляровского и обычно приглашал его к себе в «Славянский базар», чтобы, по его словам, «подержаться за ариаднину нить» в сложном и непонятном московском лабиринте.

— Без вас, Владимир Алексеевич, я на Тверской или Кузнецком мосту заплутаться могу, не то, что на других улицах. Только разве в Кремле, у соборов я



Интерьер квартиры В. А. Гиляровского.

еще как-то хорошо себя чувствую,— сказал он во время одной из встреч с Гиляровским.

Со Столешниками Суворин был связан через Чехова. Суворин знал и ценил Гиляровского и как журналиста, и как неистового москвича.

— Алексей Сергеевич, Гиляй, считает тебя образцом журналиста,— сказал как-то Чехов, возвратясь из очередной поездки в Петербург.

— Похвала Алексея Сергеевича меня, конечно, радует! — говорил Гиляровский.— Он настоящий жур-

налист. Взять хотя бы его «Маленькие письма». А его театральные рецензии должны быть внимательно изучены всяким, кто будет заниматься историей нашего театрального искусства. Мария Николаевна Ермолова не раз упоминала об остроте суворинского глаза и его проницательности в актерских делах. Об этом же я слышал от Александра Ивановича (Южина), Александра Павловича (Ленского), от семьи Садовских. Петербургские корифеи — Савина, Варламов, Давыдов, Далматов — тоже высоко оценивали Суворина, считались с ним. Об его учениках в театральном кружке уж и говорить нечего. Даже Кугель, при всей его нелюбви к «Новому времени», все-таки не мог не признавать, что старик в театре разбирается по-настоящему

— «Миллионы испортили этого незаурядного человека» — так не раз говорил мне Антон Павлович,— приходилось слышать от Гиляровского.— Большие деньги сбили Суворина с пути.

— Миллионы не во всем виноваты,— возразил однажды дяде Гиляю Дорошевич.— Роковое влияние, и значительно большее, чем деньги, имели на него некоторые политические и административные фигуры, к которым Суворин был приближен. Суворин не сумел или, скорее, не захотел пристальней вглядеться в них и оттого повел не ту линию, которой придерживается все передовое русское общество.

Марья Ивановна, неоднократно задушевно беседовавшая с Антоном Павловичем, вспоминала, что Чехов не скрывал своей неприязни к «Новому времени», однако считал Суворина серьезным журналистом: «Если Алексей Сергеевич,— говорил Чехов,— среди всех своих хлопот и забот, связанных с изданием газеты, с руководством огромным издательством, находит время писать дневник, то будущие читатели обязательно найдут в нем много интересных страниц. Старик в нем лукавить вряд ли станет».

— Суворинская семейка — явление любопытное,— заметил как-то Дорошевич.— Три сына — Алексей, Михаил и Борис — и дочь Анастасия, ставшая или пытавшаяся стать актрисой. Каждая фигура в своем роде, в своем анфасе и профиле. Любопытнейшая

личность Алексей Алексеевич. От отца ему передались нюх и темперамент журналиста. Александр Валентинович, близко знавший семью Сувориных, многое мог бы написать об этом человеке. Алексей Алексеевич, как и отец, тоже был себе на уме, с врожденной хитрецой и оглядкой, но, конечно, совсем не той силы.

Некоторые из «Маленьких писем», созданные в горячие октябрьские, ноябрьские и декабрьские дни пятого года, прочитывались в Столешниках вслух. По поводу их много разговаривали и спорили. Суворинские письма, печатавшиеся в «Новом времени», обычно получали в Москве от газетного продавца Анисимова, имевшего лавочку в Петровских линиях. Анисимов ухитрялся получать петербургские газеты в день их выхода через проводников.

— Хитер старик, что и говорить,— заметил как-то Гиляровский после прочтения одного из «Маленьких писем» Суворина.— С собачьим нюхом! Правда, иногда этот нюх изменял ему, а может, мешали другие запахи. Не раз я говорил о Суворине с Антоном. Слегка выходя из своего обычно спокойного состояния, то сбрасывая пенсне, то опять его торопливо надевая и барабаня пальцами по столу, Антон Павлович говорил:

«Алексей Сергеевич не умел разбираться в окружавших его людях. Суворин, как многие талантливые русские люди, влюблялся в каждого, в ком видел искорки таланта, и уже не замечал «родимых пятен» на лице этого человека. А «родимые пятна» иногда так обезображивали того, к кому благоволил Суворин, что он становился ужасным для окружающих. Но Суворин этого не видел и верил в порядочность человека, которого к газетным листам подпускать не следовало. Суворин же подпускал и этим наносил великий вред и себе и делу».

— Несколько раз вместе с Антоном я бывал в знаменитом суворинском кабинете в Эртелевом переулке. Я поражался не только обилию книг в книжных шкафах, не только ворохам корректур, но и той совершенно исключительной прожорливости, с какой он все это проглатывал глазами, мозгом, кровью сердца,— сказал однажды Гиляровский.

«Вот все, что я издал,— показал как-то Суворин мне и Антону огромный, набранный убористым шрифтом каталог книг.— Все книги, выпущенные моим издательством, я обязательно прочитывал не только в рукописях и корректурах, но и тогда, когда они превращались в томики «Дешевой библиотечки» или в огромные тома, вроде трудов Мейербера, Герберштейна и многих других».

«Мы еще не вполне уяснили себе,— вспоминал Гиляровский слова Чехова,— какое значение для развития нашей культуры имеет «Дешевая библиотека». Эта библиотека за гривенник дает читателю томик Пушкина или другого классика. Жаль, что я не доживу до того времени, когда будет издана история издательского дела в России».

Антон Павлович, проговорив это, закашлялся, и я увидел небольшое красное пятнышко на платке.

«Ты, Гиляй, наверное, недоумеваешь, как это я люблю Алексея Сергеевича,— сказал мне однажды Чехов, когда мы спускались по широкой выходной лестнице из вместительной суворинской квартиры.— Я ценю его дарование, ум, талантливость. В Суворине есть талант, а «Новое время»,— указал Антон Павлович на освещенные окна типографии,— дрянь, которая много вреда приносит.

Ты подумай, Гиляй,— продолжал вспоминать Гиляровский чеховские слова: — Простой, скромный сельский учитель, без роду и племени, почти без гроша в кармане приехал в чужой ему город, начал писать, сделался заметным и стал во главе газеты. Разве это не чудо? Чудо, настоящее чудо!» — добавил Антон Павлович и опять закашлялся в платок.

Однажды, в поздние сентябрьские или ранние октябрьские дни 1904 года, войдя в столовую Столешников в тихие сумеречные часы, я увидел сидящего в кресле Суворина. Здороваясь, он сказал:

— Старик Суворин.

— Алексей Сергеевич зашел посмотреть рисунок Антона Павловича,— пояснил мне Гиляровский.— Я предлагал ему принести рисунок в «Славянский базар», но он сказал, что хочет видеть его немедленно. Этот шуточный рисунок был сделан Чеховым в Столешниках в 80-е годы.

— Когда за спиной много лет, ничего нельзя откладывать даже на минуту. Надо делать сейчас же, немедленно,— сказал Суворин голосом, в котором явно чувствовалась усталость прожитых лет.— Слишком мне был дорог Антон Павлович, чтобы я откладывал что-либо касающееся его жизни. Бросьте на время все свои текущие дела, Владимир Алексеевич, и напишите о Чехове. Начало ведь сделано статьями, опубликованными в «Русском слове» сразу же после получения телеграммы из Бадена. Теперь только надо продолжать. Не остывайте, пока рана не начала затягиваться. О таких болезненных воспоминаниях надо писать в первые же минуты, пока боль не утихла. Только тогда тон писания будет верен и будет бередить сердца.

Пишите! За издателем дело не станет: не будет в Москве, найдется в Петербурге. Это вам говорит издатель Суворин.

Много отрывочных воспоминаний о Чехове пришлось тогда услышать в разговорах двух людей, хорошо знавших писателя.

— Отберите, Владимир Алексеевич, в своей памяти все, что связано с Антоном Павловичем, берегите вещи, которые хранят тепло чеховских рук, трепет его прикосновений. В Москве ведь будет когда-нибудь Чеховский музей. Облик Москвы 80—90-х годов без Чехова не будет полным.

Долго продолжалась в столовой Столешников эта неторопливая беседа, и только взглянув на часы, Суворин сказал:

— Разговор окончился.

И добавил:

— Вот и зашел на минутку.

После этих слов Суворин распрощался и стариковской походкой отправился в «Славянский базар».

— Меня не надо провожать, Владимир Алексеевич! Хоть я и не москвич и город знаю мало, но люблю и горжусь им, как и все русские люди!

Очень заметным на литературном поприще Москвы начала века был молодой журналист Николай Георгиевич Шебуев. Он производил впечатление жи-

вого, сметливого человека, с настоящим темпераментом журналиста.

Дарование его развивалось под влиянием манеры и стиля Дорошевича. Друзья в шутку прозвали его «Поддорошевичем», и он не обижался на это прозвище.

Молодой, подвижный, энергичный, с прищуренными веселыми глазами, Николай Георгиевич Шебуев частенько бывал в Столешниках, прислушивался к разговорам и нередко вставлял свои меткие замечания.

Шебуев очень твердо верил в важность фактов в газетной работе, считал это основой и всегда подчеркивал, что его газетные заметки пока ни разу не были опровергнуты и не требовали опровержений.

— У меня их тоже никогда не было, и у журналиста быть не должно. В нашей работе точность факта прежде всего,— всегда с гордостью повторял Гиляровский.

Литературной известности Шебуев достиг в конце пятого года в петербургском сатирическом журнале «Пулемет».

«Пулемет», как и множество сатирических изданий, возникших в 1905—1906 годах, когда цензура еще не успела прийти в себя от развернувшихся революционных событий в стране, был боек, задорист и старался касаться многих запретных для того времени тем.

Шебуев, как он потом много раз в подробностях рассказывал в Столешниках, опубликовал в «Пулемете» во всю журнальную полосу текст «Манифеста 17 октября», на котором красной краской была напечатана растопыренная человеческая рука с подписью: «К сему свиты его величества генерал-майор Д. А. Трепов руку приложил». Эффект этого рисунка у читателей был поразительным.

Любители литературных выдумок и курьезов сразу взвинтили цену на номер журнала до пяти рублей, а позднее платили за него и дороже. Эта выдумка была, пожалуй, взлетной точкой известности Шебуева. После нее Шебуев продолжал энергично сотрудничать в прогрессивной печати, много писал в советское время.

С большой горячностью велись в Столешниках разговоры по поводу текущей газетной работы. Особенно живо и выразительно сохранилась в памяти одна беседа, вспыхнувшая, как всегда, неожиданно. Завязкой беседы послужила статья видного театрального рецензента, редактора влиятельного петербургского театрального журнала Александра Рафаиловича Кугеля.

Огромный, с первого взгляда даже немного пугавший размерами своей фигуры, с большой густой шевелюрой, выразительными чертами лица, резкими, подчеркнуто энергичными движениями, Кугель не мог не останавливать на себе внимания.

Амфитеатров был дружен с Кугелем и в один из своих наездов в Москву принес в Столешники номер журнала, где была напечатана очередная грозная кугелевская статья против Художественного театра. В связи с этой статьей и возник горячий спор о темпераменте и его значении в литературной работе.

— Выдержки у Кугеля нет,— сказал Дорошевич.— Без выдержки, без самоохлаждения нельзя садиться за стол и писать. Гореть темой, конечно, нужно. Это обязательно, но Кугелю часто мешает необузданность его литературного темперамента. Закусит удила и несется. А нашему брату журналисту без оглядки на жизненные явления, одним темпераментом брать нельзя.

— Темперамент! Черт бы побрал этот темперамент! Сколько раз он подводил меня, этот темперамент,— сказал Амфитеатров.— Иной раз разгорячишь себя, взволнуешь, сядешь за стол — и хватишь по башке неугодное тебе явление или неприятного тебе человека. Накатаешь сгоряча страниц с десяток да прямо в набор. А когда наш брат чувствует свой вес и положение, знает, что к написанной тобой строчке прикоснуться нельзя, вот тогда и возникают конфликты и недоразумения. У меня в «России» был такой случай. Входит в мою рабочую комнату с довольно смущенным видом один из наборщиков и говорит:

«А у вас, Александр Валентинович, по-моему, одна шероховатая строчка есть. Извольте прочесть, потому что корректор мне сказал в ответ, когда я ему эту

строчку показал: «Ты уж сам с Амфитеатровым говори! А я, зная, как он относится к правке написанного им, на рожон лезть не хочу».

Взглянул я на строчку и ахнул: прямая высылка из Петербурга. Вычеркнул я строчку и дал наборщику трешницу. Много мне темперамент мой неприятностей приносил,— закончил Амфитеатров.

— Вот на тебя и надо узду надевать,— сказал Дорошевич.

— Гиляй меня иногда одергивает за ненужную резкость слов или характеристик. Газета ведь вещь ответственная: что написано пером — не вырубишь топором.

— Этому, брат, еще Николай Васильевич Гоголь учил, говоря, что со словом надо обращаться осторожно.

— Иногда словом пришпилить нужно и полезно,— убежденно и веско произнес Гиляровский.— Газета — это острый штык, который должен разить противника. Без этого газета не выполнит полностью свой долг перед читателями, и кто не помнит этого — не настоящий журналист. Оттого я, любя газетную работу, отдаю ей много сил и времени. А в твоей резкости, Александр Валентинович, иногда проглядывает прямолинейность семинариста, привыкшего рубить сплеча.

— Ты прав, пожалуй, Гиляй! Результат спешки.

— На то мы и газетчики. Обязаны подавать горячо! Известно, газета, как поезд, должна приходить к читателю в срок, без опоздания,— подхватил Дорошевич.

— Я этого мудрого правила придерживаюсь всегда. Не только в своих газетных писаниях, но и в больших романах и повестях,— сказал Амфитеатров.

— Оттого-то они бывают рыхловаты,— улыбнулся Дорошевич.

— Я не романист. В моих романах переданы наблюдения и рассуждения о людях, явлениях, которые мы все вместе переживаем, вместе чувствуем. С раннего детства я наблюдал кремлевское духовенство. Какие были типы! Рембрандтовская колоритнейшая кисть только и могла их живописать! Сколько я видел дарований среди актерской братии, когда думал

стать певцом и даже держал театр в Тифлисе! А московская профессура, адвокатура?.. А журнальный мир?.. Даже вот такие фигуры, как ты, Гиляй, и ты, Влас,— разве не темы? Темы! Да еще какие!

Эх ты, бремя газетное! Много в тебе прелести, неповторимости и много терний и шипов, больно ранящих,— заметил Гиляровский.— Тебе, Влас, особенно теперь на это жаловаться не приходится, ты полный хозяин в «Русском слове».

— Хозяин,— протянул Дорошевич.— Полный хозяин должен знать, что газетное место — не резина, его не растянешь по своему желанию. Ты думаешь, что мне не надо считаться с размером статьи? Надо, брат, надо! Сядешь писать — нахлынули разные мысли, накатаешь, пошлешь в набор. Часа через два пришлют гранки, проглядишь. А поздно ночью дежурный редактор придет с версткой и скажет: «Что выбрасывать? Не влезает написанное». Вот тут и подходит роковой вопрос: быть или не быть?

Разве вам обоим,— обратился Дорошевич к собеседникам,— не приходилось решать этот проклятый гамлетовский вопрос? И черкаешь, и делаешь выкидки из своего, потому что нельзя же не дать читателю живых откликов на то, что случилось вчера, что волнует общественность.

— Это «вчера» жерновом висит на нас, газетчиках,— заметил Гиляровский.

— Тебе, Гиляй, иногда, вероятно, хочется остановить жизнь, когда она накапливает много событий за этот вчерашний день? — сказал Амфитеатров.

— Приятели иногда выговаривают мне, что я трачу себя на газетную работу, а не отделываю, не отрабатываю все, чем живу, что знаю, о чем раздумываю и что наблюдаю, в романы. Что я могу ответить на это? Только то, что я газетчик, то есть человек, который не может не откликаться в этот же день на все, что волнует меня и других. Если я не откликнусь сегодня, значит, не выполню долга, который лежит на мне как на человеке, обязанном быть полезным стране и народу, меня воспитавшим. Я это и делаю. Как и с каким качеством — это другое дело, об этом другой разговор. Откликаться и срочно — мой долг, моя святая обязанность.

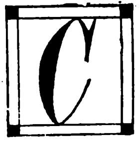
— Материала иногда набирается так много,— продолжал разговор Амфитеатров,— так от него распирает, что я вынужден часть впечатлений переводить в книги. «Восьмидесятники», «Девятидесятники», «Закат старого века» — это не романы, это продолжение того, что не вошло, не уместилось в рамки моих ежедневных фельетонов. Скажи, Гиляй, а разве твои знания Москвы и москвичей ты не можешь включать в свою каждодневную работу?

— Конечно, нет! Я это включу, когда ноги перестанут носить меня по Москве,— шутливо отпарировал Гиляровский.

— Исполать тебе! Дай тебе судьба здоровую старость и при ней ясную голову.

Без кисти и карандаша

1.


толешники всегда с необычайной приветливостью распахивали свои двери перед каждым, в душе и сердце которого сверкали, горели или даже только теплились искры настоящего, искреннего вдохновения, гостеприимно встречали каждого, кто жил и дышал воздухом искусства.

Глубокие дружеские отношения связывали Столешники с миром художников. Во многом это определялось натурой Гиляровского, стихийно жившей в нем увлеченностью людьми яркими, даровитыми, его большим природным вкусом. Москва, ставшая сразу для дяди Гиляя родной и близкой, не только создала условия для развития его дарования, не только дала ему массу впечатлений, но и столкнула с одаренными, талантливыми людьми. Среди них были художник, воспитанник Училища живописи, ваяния и зодчества Николай Павлович Чехов, друг молодежи, преподаватель училища Владимир Егорович Маковский, братья Сорокины, даровитая молодежь, работавшая тогда в московских иллюстрированных еженедельниках.

И молодежь, и маститые художники быстро подчинились обаянию Столешников и начали тянуться к ним как к месту, где можно почерпнуть для себя что-то новое, поговорить об искусстве, встретиться с интересными людьми.

Гиляровский умел разглядеть в человеке его даровитость, почувствовать будущий талант.

— Восхищаться блестящими талантами Ильи Ефимовича (Репина), Василия Ивановича (Сурикова) и Виктора Михайловича (Васнецова),— говорил не раз Гиляровский,— не так уж трудно. Гораздо сложнее на ученической выставке в первых, еще малоопытной рукой написанных этюдах увидеть будущий талант живописца. Угадать, почувствовать, уловить здоровый пульс, предвещающий расцвет нового дарования,— это очень нужно и в то же время несравненно более трудно, чем восторгаться теми, кто уже прочно определил свое место в искусстве, или дружески похлопывать их по плечу.

Вероятно, оттого Гиляровский был неизменным и внимательнейшим посетителем ученических выставок. Он бывал на них по многу раз. Посещал их еще до открытия, обязательно писал о них в газетах, старался помочь молодым художникам развернуть свое дарование. Оттого так тянулось к Гиляровскому молодое, только начинающее свой тернистый путь художественное поколение Москвы. Оттого всегда так охотно бывала в Столешниках молодежь, которой дядя Гиляй отдавал свои заботы и внимание.

Много добра сделал Гиляровский для таких художников, как заслуженный деятель искусств Николай Иванович Струнников, учившийся у И. Е. Репина, и народный художник Александр Михайлович Герасимов, ученик А. Е. Архипова и К. А. Коровина. А. М. Герасимов посвятил теплые строки памяти своего друга в автобиографической книге «Жизнь художника».

И Струнников и Герасимов с большим чувством благодарной признательности вспоминали Гиляровского. Сколько радостных творческих часов и дней провели они в гостеприимных Столешниках и в не менее гостеприимной «Гиляевке» (Малеевка) под Рузой, дачном уголке Владимира Алексеевича, где он любил спокойно работать, бродить по лесам, собирая грибы или любуясь золотым убором берез и кленов.

Хорошо помню их в Столешниках, где постоянно дневали и ночевали молодые воспитанники Училища живописи, собиравшего со всех концов России даровитую, талантливую молодежь. Они приходили сюда



В столовой у Гиляровских. Этюд А. П. Белыха.

как в родной дом, приносили на строгий, нелицеприятный суд — одни робко, другие с заносчивостью и излишней самоуверенностью молодости — свои первые творческие опыты. Молодежь знала темпераментность хозяина Столешников, не умевшего и не желавшего лукавить. Она внимательно выслушивала одобрения и похвалу Гиляровского или резкий разнос за отход от правды жизни, за искажение действительности, за неискренность, холодную выдумку. Тем, кто

оправдывал погрешности и объяснял их своим особым «видением», Гиляровский убежденно говорил:

— Мало ли что тебе причудится в потемках! Мало ли что ты сможешь увидать в постоянно запертой на замок, темной, заваленной хламом и старьем комнате, где давно уже никто не живет.

Ты художник! Живи в шумном потоке текущей жизни, в говорливой, кипящей энергией толпе деятельных, творящих людей. Без устали броди и жадно наблюдай, вдыхай в себя радости и очарования жизни, просторы полей, величавые гулы лесов, безбрежную синеву неба и темень грозовых облаков, зеленую мураву весны и пушистые серебристые зимние дали с колеями вечно зовущих вперед дорог.

Справедливое негодование и возмущение Гиляровского вызывали некоторые опыты и дерзания молодежи, сбиваемой с толку умозрительными увлечениями зарубежных «новаторов», выдумывавших «новые пути» в искусстве, не имевших никакой связи с жизнью.

— Ты действительно видишь человека с тремя головами? — возмущенно спрашивал Гиляровский художника, показавшего ему этюд, написанный так, как он увидал на репродукции только что полученного заграничного художественного журнала.

— Почему у тебя человек похож на скрипку? — спрашивал он другого, ощупывая мускулатуру его рук, а иногда похлопывая его по спине или шее.

— Отчего у тебя вместо Василия Блаженного и обычных московских домов какие-то разноцветные кубики и конусы? — говорил Гиляровский художнику, показавшему этюд Красной площади.— Иногда ты можешь на улице увидать слона, особенно, если идешь ночью с пирушки, а конусы вместо домов, даже в сильном подпитии, вряд ли на московских улицах увидать можно.

— Зачем писать бумажные цветы, когда можно поставить перед собой букет крымских роз или степные цветы? Никакая цветная бумага и рукомесло самых опытных мастеров не смогут заменить краски природы,— убежденно утверждал неистовый жизнелюбец из Столешников.

— Колористические сочетания! — иронически по-



Ветлы. Рисунок И. И. Левитана.

вторял он слова автора, принесшего на суд свой натюрморт из искусственных цветов.— Разве можно сравнивать цветовую гармонию живых цветов с бумажными? Невозможно! И не надо! — горячо утверждал Гиляровский.

Несмотря на непримиримость в оценке Гиляровским некоторых увлечений молодежи, она не переставала идти в Столешники, охотно показывала свои опыты, рассказывала об исканиях и внимательно выслушивала замечания дяди Гиляя — убежденного поборника реалистического искусства.

— Очаровывает и покоряет Владимира Алексеевича только искренность в искусстве, только страстная увлеченность им,— говорил о нем один из художников.

Среди завсегдатаев Столешников наиболее колоритной фигурой и по силе дарования, и по творческой напряженности был Константин Алексеевич Коровин. Он весь как бы был озарен ярким солнечным светом, весенним, ароматным, освежающим ветром. Красивый, с очаровательной улыбкой и стремительными движениями, Коровин был всегда хорошо, со вкусом одет.

Манера обращения, внешность, костюм, только что сшитый известным московским портным, или привезенный из Парижа, или приобретенный в модном магазине «Жака» на углу Петровки и Столешникова переулка, рыжеватая меховая куртка — все это производило неотразимое впечатление.

Коровин, наряду с такими крупными живописцами, как В. А. Серов, С. Ю. Жуковский, А. Е. Архипов, С. А. Виноградов, А. М. Васнецов, С. В. Малютин, А. С. Степанов, П. И. Петровичев и другие, входил в Союз русских художников. Многие из этих художников во главе с Коровиным были частыми гостями Столешников. Здесь бывали также М. Х. Аладжалов, В. П. Бычков, Н. А. Клодт, Л. В. Туржанский и другие.

Вечера, которые проходили в столовой или в кабинете, всегда были наполнены горячими разговорами, шутками, экспромтами, страстными спорами. Особенно оживленно бывало перед рождеством или пасхой, когда в Москве открывались очередные выставки Союза русских художников, «Мира искусства», передвижников, учеников Училища живописи, ваяния и зодчества, а позднее различных объединений художников.

Не будет, пожалуй, преувеличением сказать, что центром таких вечеров был Константин Алексеевич Коровин, ярчайший представитель передового русского искусства, подлинный мастер, самозабвенно влюбленный в свое дело, тонкий пейзажист и театральный художник с большой выдумкой. Коровин имел самостоятельную мастерскую в московском Училище живописи, ваяния и зодчества и был беззаветно почитаем своими учениками. Всеобщий любимец, душа каждого собрания, близкий друг Ф. И. Шаляпина и многих знаменитейших современников, Коровин неизменно вносил радость в дружеские встречи.

Радость, любовь к жизни, восторженное отношение к ее красоте отличали натуру Коровина и пронизывали его творчество. С удивительной непосредственностью это ощущалось всеми, с кем встречался художник, умевший передать свою любовь к искусству. За эти качества натуры Коровина его особенно нежно любил Гиляровский.

К. А. Коровин быстро схватывал, глубоко воспри-



К. А. Коровин.

нимал и остро переживал отдельные поразившие его явления, подолгу жил ими и кроме них ни о чем другом не мог говорить. Хорошая или, наоборот, не удовлетворившая его картина, которую он только что увидел на выставке или в мастерской, какое-либо событие в жизни художников, в Училище живописи или

в театре, рыбная ловля — вот основные темы его живых, порой страстных разговоров. Коровин говорил горячо, непосредственно, подкрепляя свою мысль характерными интонациями, движениями рук, особым огоньком в глазах.

Константин Коровин был не только талантливым живописцем, могущим в мгновение ока написать полыхающий яркими цветовыми сочетаниями пейзаж или букет благоухающих роз, но и блестящим декоратором, который умел выразить в декорациях особенности музыки П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

Коровин был кумиром художественной молодежи, не устававшей восторгаться блеском и силой коровинского мазка.

Талант Коровина подчинял себе все окружающее — и в аудиториях Училища живописи, и на вернисажах Союза русских художников, и в зрительном зале Большого театра, и в курилке Малого, где у него было множество друзей среди ветеранов «щепкинского дома».

Радость, только радость должно нести людям искусство — вот было главное убеждение Коровина.

Дружественное соприкосновение таких незаурядных людей, как Коровин и Шаляпин, с находчивым, остроумным, наблюдательным, много видевшем в жизни Гиляровским всегда оставляло незабываемое впечатление. Часами можно было слушать, впитывать все, о чем как бы мимоходом, но всегда необычайно остро, проникновенно говорили эти люди. Даваемые ими характеристики происходивших в художественном мире явлений и событий, оценки произведений живописи, театра, литературы всегда были новы, свежи, интересны и западали в память.

Художественная Москва тех лет блистала именами многих славных, даровитых мастеров, обогативших русское искусство великолепнейшими произведениями. Тем не менее в среде друзей-художников Коровин не то чтобы затмевал других, но благодаря особенностям своей талантливой натуры как-то выделялся. Это получалось естественно, само собой, никого не удивляло и не встречало никаких возражений. Вероятнее всего, это была общепризнанная власть

таланта, да еще такого, как коровинский,— ярко переливающегося, очаровывающего своей искрометностью, остроумием и блеском. Он не мог не подчинять себе, не покорять.

Наиболее близки были Столешникам по внутреннему содержанию своего дарования А. Е. Архипов, А. М. Васнецов, С. А. Виноградов, С. В. Малютин и С. В. Иванов. Некоторые из них бывали в Столешниках чаще, другие реже, но все они отличались богатством таланта, колоритностью, темпераментностью своих натур.

Абрам Ефимович Архипов, малоразговорчивый, как бы стеснительный, но зоркий рязанец, издавна был связан с Гиляровским общей привязанностью к Волге и Оке. Архипов с детства видел красоту своей родной рязанской земли. Гиляровский изъездил вдоль и поперек рязанские угодья.

Оба они блестяще знали Рязанщину, искренне и безраздельно восхищались типическими чертами и особенностями рязанцев, их бытовым своеобразием и часто об этом говорили.

Гиляровский ценил картины Архипова за исключительное уменье художника жизненно и правдиво передавать характер простых людей. Его пленяла яркость одежд, в которые любил рядить художник своих героев, особенно рязанских баб, манера видеть, особый, архиповский стиль.

— Вы так пишете солнышко, Абрам Ефимович, что яркие его лучи на ваших картинах в руки взять хочется,— говорил дядя Гиляй, разбирая архиповские произведения.

— Такие, значит, они живые, как ваш Степан Разин,— отвечал ему деликатнейший, застенчивый Архипов.— Я хоть этого человека не видал и в моей Рязанщине он не был, но по вашим стихам я его как живого представляю,— добавлял Архипов.

— Окский воздух вы умеете так передавать, что им не надышишься, Абрам Ефимович. Ваш «Обратный» так написан, будто вы всю жизнь только и занимались, что колесили по рязанским полям и вместе с возницей услаждали свой слух пением жаворонков да писком сурков.

— Любил я, Владимир Алексеевич, пение жаво-

ронков; любил прислушиваться, как степь, особенно по вечерам, разговаривает,— прищурив глаза и глотая горячий чай, говорил Архипов.— Это такие концерты, что не всегда в консерватории услышишь. Звезда со звездой по ночам в наших землях разговаривает.

Обычно вместе с Архиповым заходил в Столешники Сергей Арсентьевич Виноградов. Хотя не особенно давно он приехал с юга, но твердо обосновался в Москве, как-то быстро акклиматизировался, стал своим человеком в художественных объединениях «Мир искусства» и Союз русских художников. Часто заходил с ними Аполлинарий Михайлович Васнецов. Москва чтила его и как брата всемирно известного Виктора Михайловича Васнецова, и как даровитого живописца, многие полотна которого были посвящены старой Москве.

— Мы, Владимир Алексеевич, вернее, наш Союз русских художников — законные наследники передвижников,— говорили они.— Мы из их среды пришли, мы их ученики.

Васнецов и Виноградов — талантливые, одаренные, стремившиеся внести в любимое ими искусство освежающую, животворящую силу красочного, колористического обновления, приходили в Столешники поговорить, посоветоваться. Они говорили Гиляровскому о том, что московские газеты должны заострять внимание на новых задачах реалистического искусства в области цвета, света и воздуха. Частенько, сидя в кабинете Гиляровского, они подробно обсуждали планы в защиту того, что для них являлось наиболее дорогим в искусстве. Такие газетные «кампании», организацию которых брал на себя Гиляровский, были очень нужны, так как стали явственно наблюдаться настроения против Союза русских художников.

Иногда в этих беседах принимал участие Сергей Сергеевич Голоушев, врач по профессии, служивший при одном из полицейских участков Москвы. Известность в Москве Голоушев приобрел не как врач (об этой его профессии многие даже не догадывались), а своими выступлениями в московских газетах по вопросам искусства, театра и живописи, которые он подписывал псевдонимом «Сергей Глаголь».

После привлечения к политическому «процессу

193-х» и участия в демонстрации по делу Веры Засулич Голоушев уехал за границу, где хорошо изучил искусство. Вернувшись через несколько лет на родину, он с увлечением ушел в жизнь искусства, участвовал, как пейзажист, на выставках, тесно общался с художниками и систематически помещал статьи о них в газетах и журналах. Голоушев хорошо знал многих художников, что позволяло ему писать интересные статьи об их творчестве.

Сближению Голоушева со Столешниками много способствовало его сильнейшее увлечение творчеством И. И. Левитана. Голоушев иногда часами разговаривал с Владимиром Алексеевичем и Марьей Ивановной о Левитане, записывал воспоминания о его жизни, о поездках на Волгу. Несколько раз при таких беседах присутствовала С. В. Кувшинникова.

Гиляровский постоянно посещал вечера у С. В. Кувшинниковой, хорошо знал период жизни И. И. Левитана на Волге, высоко ценил этюды, написанные им на берегах великой русской реки.

— Этюд — самая затаенная, самая дорогая часть души художника,— говорил Гиляровский.— В него надо особенно внимательно и чутко вглядываться.

С такой оценкой значения этюда был полностью согласен и Голоушев. На своих уроках по технике графики в Строгановском училище Голоушев постоянно отмечал важность работы над этюдом.

Так же как в Училище живописи, Гиляровский был своим человеком и в Строгановке. С руководителями этих художественных учреждений — С. А. Львовым и Н. В. Глобой — дядя Гиляй был в дружеских отношениях, полностью разделял их приверженность реализму.

В беседах об искусстве часто принимал участие талантливый и тонкий художник-лирик Н. В. Мещерин, человек большой поэтической настроенности. Его присутствие всегда придавало разговору особую страстность и эмоциональность.

Ревностным поборником основ реалистического искусства был сын Саввы Ивановича Мамонтова — Сергей Саввич. С. С. Мамонтов был связан тесными личными отношениями с М. А. Врубелем, В. А. Серовым, И. С. Остроуховым, М. В. Нестеровым, сам был

не чужд искусству — занимался немного майоликой и выставлял ее на выставках Союза русских художников. Не без содействия Гиляровского С. С. Мамонтов заведовал некоторое время отделом искусства в «Русском слове». В своих рецензиях о выставках он решительно отстаивал позиции реалистического искусства, смело отражал наскоки «новаторов», стремившихся установить новые основы живописных исканий.

Ни С. В. Малютин, ни С. В. Иванов, ни тем более тишайший Н. В. Мещерин не были бойцами, пропагандистами своих взглядов. Они лишь настойчиво и уверенно делали то, что считали нужным и необходимым в искусстве.

Малютин, кипучий, иногда даже нетерпимый к своим собратьям, с большим выбором делал портреты виднейших представителей московской литературы, передовой общественности. Гиляровский немного помогал ему в этом, поскольку знал всю Москву и его слова, обращенные к тому, кто мог бы быть моделью для художника, имели немаловажное значение.

С Ивановым у Гиляровского отношения были гораздо насыщеннее, поскольку их сближали общие интересы к происходившим в Москве событиям 1905 года. Иванов и дядя Гиляй неоднократно ходили на митинги в университет. Иногда Гиляровский наблюдал, как художник делал наброски увиденного на улицах. Наброски эти лежали на столе в рабочем кабинете Гиляровского. Вместе они провели ночь в аудиториях на Моховой, когда университет был блокирован отрядами казаков; бывали на революционных выступлениях и демонстрациях в фабричных районах города. В результате таких неоднократных совместных посещений «горячих», как их называл Иванов, мест Москвы в его альбомах появились яркие наброски, а у Гиляровского — множество заметок в блокнотах и записных книжках.

Иванов внешне производил впечатление скрытного, нелюдимого человека и никогда не проявлял особого желания к излиянию своих чувств и настроений. В Столешниках он тоже держался подчеркнуто сдержанно, внимательно выслушивал рассказы Гиляровского и сообщения очевидцев.

— Если бы я столько видел, сколько вы, Владимир

Алексеевич, я бы, наверное, больше написал,— сказал как-то Иванов.

— Зато вы, Сергей Васильевич, так шестнадцатый и семнадцатый век видите, как, дай бог, нам видеть сегодняшний день,— заметил Гиляровский.

— Иногда я, правда, старину на ощупь чувствую. Не знаю сам, откуда это берется.

— Откуда берется, не знаю, Сергей Васильевич, а от картин ваших оторваться трудно,— ответил Гиляровский.

— Марья Ивановна,— сказал однажды Иванов, обращаясь к жене Гиляровского,— какую штуку выкинул Гиляй в университете! Мы с ним пробрались сначала в богословскую аудиторию университета, потом заглянули на первый юридический факультет. Везде, конечно, шумно, галдеж, возбужденные лица, неразбериха и толкотня.

Гиляй ходил по аудиториям, по коридорам, разговаривал со студентами, потом дернул меня за рукав и говорит: «Сергей Васильевич, давайте на минутку съездим по одному делу». Вы ведь лучше меня знаете, что спросить Владимира Алексеевича: «Куда ехать?» — это не только вызвать у него бурное негодование, но и сорвать то, что он задумал. При таких словах, как «куда», Владимир Алексеевич часто решительно отказывался куда бы то ни было двигаться.

Я дипломатически спросил:

«Надолго ли?»

«На минутку,— ответил он.— Совсем близехонько! А съездить нам надо».

«Поедем»,— сказал я.

«На своих на двоих,— добавил Владимир Алексеевич.— Ведь извозчики объезжают теперь Моховую и Манеж, поскольку здесь казачьи отряды».

Выбрались мы двором, через калитку в Долгоруковский переулок. Идем... Вышли на Тверскую. Пошли вверх к Страстному. Доходим до филипповской булочной. Гиляй молчит, молчу и я. Входим в булочную, свернули куда-то за прилавок. Владимир Алексеевич спрашивает кого-то: «Дмитрий Иванович у себя?» Слышу ответ: «У себя, пожалуйте». Входим. За столом сидит хозяин пекарного дела не только Москвы, но, пожалуй, и частицы России, поскольку

филипповские баранки даже в Сибирь вагонами отправлялись. Поздоровались. Гиляй понюхал табачку, угостил из табакерки Дмитрия Ивановича и говорит:

«Знаешь, что студенты второй день в университете сидят и их казаки сторожат?»

«Слыхал. Ребята говорили».

«А ты знаешь, что им есть надо?»

«Конечно, Владимир Алексеевич, надо, как нам всем».

«А где взять? К тебе, что ли, сюда бегать или же по соседним булочным по мелочам собирать?»

«По мелочам дело сложное. Много не соберешь. Да и хлопотное это дело, Владимир Алексеевич».

«То-то и оно-то, Дмитрий Иванович!»

«Что же надо, Владимир Алексеевич?»

«Надо немногое: чтобы ты распорядился послать в университет несколько корзин с калачами. Корзин, конечно, не одноручных, а двуручных. Помочь надо молодежи. За нас ведь работает. Какая молодежь — горячая, готовая ко всему и на все! Вот Сергей Васильевич,— обратился он ко мне,— надеюсь, подтвердит, мы с ним только что оттуда, из университета».

Дмитрий Иванович немного помешкал и сказал сидящему невдалеке от нас служащему:

«Василий, слышал разговор? Распорядись сейчас же послать несколько корзин калачей».

«Только обязательно тепленьких»,— добавил Владимир Алексеевич.

«Мы вчерашними не торгуем, Владимир Алексеевич, а тем более по личному приказу Дмитрия Ивановича»,— сказал филипповский служащий.

Через час, обходя аудитории, я наблюдал, как молодежь с аппетитом уплетала филипповские румяные калачи, не зная, кому она этим обязана.

— Тема для рассказа «Как буржуй революционеров своими калачами вдоволь накормил»,— ответил Гиляровский на рассказ Иванова.

— Другая, Марья Ивановна, тема,— сказал Иванов,— рассказ «Как добрый человек быстро сообразил, что молодежь есть хочет и что надо позаботиться и накормить ее».

Часто Гиляровский встречался с художниками у В. Е. Шмаровина. По средам в большой комнате шма-

ровинского особняка на Молчановке на большом столе появлялись краски, преимущественно акварель и гуашь, листы бристольского картона. Приходившие художники писали на нем бытовые сценки, пейзажи, натюрморты, которые разыгрывались в конце вечера в лотерее.

Часов около одиннадцати вечера со стола убирались все рисовальные принадлежности, расставлялись тарелки с нехитрыми закусками, приборы, и художники вместе с подъехавшими после спектакля актерами иногда до раннего утра попивали из стоявшего на столе бочонка пиво, пели свой гимн «Не дурно пущено» и песенку «Комарище», перекидывались шутками и острыми словечками. Неизменным зачинщиком веселья бывал дядя Гиляй.

В Столешниках художники вели себя несколько иначе, чем на «средах»,— не рисовали и не пели. В большинстве случаев, сидя за чайным столом, они беседовали, перебрасывались замечаниями, обсуждали злободневные темы.

Несколько обособленное место в этом содружестве живописцев занимали двое — Вячеслав Павлович Бычков и Константин Федорович Юон. Бычков — невысокого роста, очень подвижный, живой — остро реагировал на все явления художественной жизни. Со времени организации Союза русских художников Бычков был его секретарем и фактически организатором всех выставок объединения. Он собирал картины для выставок, заведовал их продажей, вел бухгалтерию и переписку с членами организации. Все это не мешало ему быть очень деятельным художником. Он писал картины, посвященные жизни приволжских пристаней, и каждое лето жил на Волге. Написанные им бытовые сценки передавали разнообразные впечатления и наблюдения и в первые же дни выставок приобретались любителями этого красочного жанра. Гиляровский был большой охотник до таких жанровых сцен, и между ним и Бычковым существовали обоюдные симпатии.

Реже других бывал в Столешниках К. Ф. Юон. Объяснялось это в какой-то степени тем, что Юон, по рождению и вкусам коренной москвич, был тесно связан со многими молодыми художниками-петер-

буржцами, объединяемыми дягилевским кружком «Мир искусства» и, по исконной традиции, состоявшими в оппозиции к Москве.

Однако Юона притягивала к Столешникам органическая увлеченность тех, кто бывал здесь, Москвой, московским бытом. К этому тяготел и сам художник, отдавший много творческого внимания поэтическому воспеванию древней русской столицы.

И Юон и Гиляровский страстно любили московские площади и улицы, восхищались цветистостью колоколенок и церквушек Замоскворечья, живо и непосредственно чувствовали поэтичность Торговых рядов, с пристрастием подлинных художников всматривались в нарядную шумливость вербных базаров, вслушивались в пасхальные благовесты московских «сорока сороков» и скрип извозчичьих санок, разрезавших полозьями снег на улицах. Оба как бы обогащали друг друга остротой московских впечатлений, и их, как Александра Блока, влекли «огни и мгла» родного города. Оба великолепно знали художественный мир Москвы, и их дружеские беседы всегда бывали большим наслаждением для слушателей.

Гиляровский хорошо знал не только Подмосковье, но и многие старые русские города, которые с увлеченностью писал Юон. Художник с благодарностью черпал у Гиляровского сведения о них, когда собирался, как он говорил, в «провинциальную глушь».

Всегда с подчеркнутым вниманием встречал Гиляровский Илью Ефимовича Репина, который, бывая в Москве, почитал своим долгом навестить «старого казачину», как он называл Владимира Алексеевича.

Встречи, сблизившие Репина с Гиляровским, уходили в сравнительно далекие времена, когда писатель начал бывать в Петербурге на передвижных выставках, где через известного литератора Д. И. Эварницкого, много писавшего по истории Запорожской сечи, познакомился с художником.

Встречи в Москве, посещение Л. Н. Толстого в Хамовниках, особая приверженность дяди Гиляя к Волге, воспоминания о периоде его волжского бурлачества и крючничества, общение с Репиным в среде театральных деятелей — все это создало предпосылки для их внутреннего сближения. Гиляровский восторгался

репинским даром и ценил в нем еще многие другие качества, которые были ему близки и дороги, как человеку и журналисту.

Не отрывая глаз можно было любоваться, как небольшой, хрупкий по виду Репин, быстрый, даже торопливый в своих движениях и жестах, вскочив со стула, ходил по столовой в Столешниках, что-то страстно отстаивал и защищал или с такой же страстностью порицал, громил, отрицал.

Вероятно, против воли и осознанного желания Репин умел покорять и подчинять себе слушателей своим удивительным темпераментом, какой-то особой убедительностью, внутренней правдивостью. Этот художник постоянно видел перед собой очередной «карфаген», который он по пылкости и страстности своей натуры считал нужным разрушить до основания, чтобы расчистить поле для новой постройки, нового созидания.

Особенно были интересны высказывания Репина о только что увиденном художественном произведении. Это был фейерверк острых сравнений и наблюдений, глубокое проникновение в замысел автора. Такие своеобразные «рецензии», как называл их Гиляровский, были высказываниями не только гениального художника, но и человека своего времени, умевшего видеть и воспринимать явления искусства с позиций современности.

Наиболее памятным был вечер в Столешниках после диспута в Большой аудитории Политехнического музея. Незадолго до этого какой-то маньяк изрезал в нескольких местах перочинным ножом голову обезумевшего царя в картине «Иван Грозный и сын его Иван». Репин как раз приехал в Москву для реставрации попорченной картины и пришел на диспут, где публика устроила ему овацию. После диспута Репин зашел в Столешники. Было около одиннадцати часов. На столе в столовой кипел только что принесенный самовар. Собравшиеся, несколько взволнованные нервной приподнятостью и встревоженностью художника, настороженно-вопросительно молчали. Пришедший вместе с Репиным художник-реставратор М. М. Богословский, помогавший ему заделывать порезы холста в картине, предупредил:

— Только не разговаривайте с Ильей Ефимовичем о докладе Волошина[1]. Его сильно задели некоторые положения докладчика. Он до сих пор не может прийти в себя: полвека отдать родному искусству и в результате услыхать, что труд его напрасен и никому не нужен.

Кто-то из присутствовавших на диспуте попытался возразить, что Волошин отнюдь не утверждал этого.

— Я не утверждаю,— возразил Богословский,— что Волошин это именно так и говорил, но тон его высказываний был не вполне уважительным по отношению к художнику. Да еще в такой момент, когда явно ненормальный человек ножом искромсал великое произведение.

— Бурные аплодисменты значительной части слушателей, переполнивших аудиторию Политехнического музея, явно подчеркнули глубочайшее уважение к вдохновенному труду большого художника,— заметил кто-то.

В этот момент Репин вместе с хозяином вошли в столовую из кабинета и сели за стол.

— Маня,— обратился Гиляровский к жене,— Илья Ефимович только что убеждал меня, что жизнь — поток впечатлений, беспрерывно нами поглощаемых, поглощаемых вдумчиво, наблюдательно, с ясным разумением и оценкой того, что происходит.

— Да, Марья Ивановна, именно поток — бурный, стремительный, разнообразный, со сменой людей, событий,— подтвердил Репин.— Многим покажется смешным, что я не расстаюсь с карандашом и альбомом и постоянно делаю наброски. Конечно, только для себя. Это у меня вошло в привычку с молодых лет, со времен моего общения с Антокольским, Крамским и многими другими, с кем прошли академические годы.

Владимир Васильевич Стасов, большой, громоздкий, большебородый, всегда очень хвалил меня за такую привычку заносить минутные впечатления в альбом. Часто, сам того не замечая, если нет под рукой карандаша и бумаги, я беру обгорелую спичку и рисую на папиросной коробке.

---

[1] На диспуте.

— Прав Илья Ефимович! Жизнь — поток! — горячо поддержал репинские слова Гиляровский.— Надо записывать все, что видишь и замечаешь. В этом одна из наших святых обязанностей. Но записываемое и запоминаемое надо обязательно тут же переплавлять на огне своего сердца. Без такой сердечной переплавки жизненные впечатления мертвы. Только огонь сердца дает закалку, превращает руду жизни в сталь, а клинками из этой стали можно защищаться, можно и нападать!

— Правы вы, Гиляй, тысячу раз правы! Наши впечатления и наблюдения, сделанные карандашом на манжете крахмальной рубашки, как это часто делаете вы, или на спичечной коробке кончиком обожженной спички, к чему иногда прибегаю я, становятся нужными и действенными только после переплавки на горниле сердца.

А все-таки иногда больно бывает, когда видишь или слышишь то, что мне пришлось наблюдать в зале Политехнического музея,— неожиданно закончил Илья Ефимович, и слеза вдруг скатилась по щеке художника.

Сотни, может, тысячи людей видели Репина смеющегося, возмущенного, гневно протестующего, радостного или огорченного, но, вероятно, немногие видели нежданные слезы на его лице. Это запомнилось на всю жизнь.

— Запомните,— сказал Гиляровский, когда художник, попрощавшись, ушел в «Большую Московскую»,— вы видели слезы Репина — Репина, написавшего «Бурлаков», «Запорожцев», «Не ждали»; их знают и будут знать миллионы. Увидеть же великого художника, оскорбленного до слез людской глупостью, а может, просто неумным озорством,— это, пожалуй, суждено не каждому!

Действительно, только в обстановке необычайной простоты и душевности, которая была характерна для Столешников, возможно было раскрытие человеческих сердец.

Особым уважением и признанием в Столешниках пользовались такие художники, как Виктор Васнецов, Василий Суриков, Василий Поленов, Михаил Нестеров и Валентин Серов. Одни из них постоянно жили

в древней столице, другие бывали здесь наездами. Их приход в Столешники был всегда большой радостью, и Гиляровский заранее предупреждал об этом своих домашних.

Характеры, московские привязанности, своеобразие этих художников обращали на себя внимание.

В. И. Суриков — уроженец Сибири, свято соблюдавший свою сибирскую закваску,— почти оседло жил в Москве, в «Княжьем дворе».

В. М. Васнецов и В. Д. Поленов, с детства крепко пропитавшиеся ароматами северных русских областей, тоже были московскими жителями. Поленов жил у Кудринской площади, Васнецов — у Самотеки.

М. В. Нестеров, родившийся в семье уфимского старожила, прочно обосновался в одной из тихих улиц Замоскворечья.

Все они с гордостью подчеркивали, что они коренные москвичи по духу, чувствам и привязанности. Для них, как и для Гиляровского, Москва была неиссякаемым источником вдохновения.

Дружеские отношения между Гиляровским и Виктором Васнецовым возникли давно, еще в дни приезда в Москву выставок передвижников, в 80-е годы — годы расцвета деятельности мамонтовского кружка. Васнецов бывал в Столешниках, а Гиляровский — в доме-мастерской художника в 3-м Троицком переулке. Они много раз встречались в Историческом музее, когда Виктор Васнецов писал свои величественные настенные картины-фризы, а также на собраниях археологов в доме Уваровых в Леонтьевском переулке, на различных выставках. Почти обязательно посещал Васнецов Столешники, когда устраивал выставки своих произведений в Историческом музее.

Высокий, длинный, сухопарый, светловолосый, ходивший в стариковском сюртуке старинного покроя, с длинной бородой, с глазами, внимательно смотревшими на собеседника, Васнецов казался старомодным. Но это впечатление мгновенно рассеивалось при первых словах художника. Васнецов ясно сознавал свое положение художника-мастера, понимал, что он работает для искусства XX века, великолепно разбирался во всем, что волновало сегодняшний день.

— Мы старики, нам надо больше молчать, чем разговаривать,— так часто начинал разговор Виктор Васнецов.

Но в большинстве случаев разговор быстро переходил на современность, где острый и проникновенный ум художника умел поразительно верно отделить важное от второстепенного, даровитое от бездарного и ненужного. Оценки Васнецова обычно были очень острые и глубокие.

— Импрессионизм — вещь далеко не плохая и нам, художникам, много давшая. Это, однако, не мешает нам, русским, увлекаться тем, что сохраняет наша старая икона с ее удивительной красочной гармонией, удачными размещениями человеческих фигур на плоскости, их взаимным соединением.

— В «Аленушке»,— сказал как-то Васнецов, когда возник разговор о его произведениях,— мне хотелось показать не то, как одинокая девушка, сидя на горюч-камне, кличет своего братца и прислушивается к шелесту тростника, а то, как тянется к теплу человеческое сердце.

«Богатыри», по замыслу моему, должны волновать не только могучестью фигур, не только широтой родных просторов. Главное в них — и мне хотелось, чтобы это понял зритель,— неукротимость их русского сердца, всегда умеющего откликаться на радости, заботы и тревоги ближних.

Старики, бредущие в студеный зимний день по Неве с квартиры на квартиру, точнее, из одной холодной комнаты в другую, тревожили меня своей предельной одинокостью.

Интересны, своеобразны по восприятию были рассказы Виктора Васнецова о виденном и в Третьяковской галерее, где он любил бывать. По пути обратно он иногда заглядывал в Столешники. Сидя за столом и медленно помешивая в стакане чай, Виктор Михайлович рассказывал о том, что остановило его внимание, что запомнилось, вызвало воспоминания. Обычно в васнецовских беседах все увязывалось с непосредственными впечатлениями и переживаниями художника.

Виктор Михайлович, как и все Васнецовы, был очень бережлив, даже скуп на слова. Только иногда

находили на него минуты вдохновения, и тогда совершенно неожиданно фантазия художника воспроизводила вслух «двор и роскошь Иоанна»; с волнением рассказывал он об удивительных вечерах в доме Мамонтова на Садовой-Спасской, где блистал искрометностью мысли и вкуса «Савва Великолепный», вспоминал о страстности Крамского, о его рассудительности и прозорливости в дни организации выставок передвижников, о спорах, сомнениях и надеждах в связи с выставкой Союза русских художников. Зайдя к Гиляровскому с выставки картин В. Э. Борисова-Мусатова на Кузнецком мосту, Виктор Михайлович серьезно сказал:

— Мусатов ходит в декадентах, его хвалят «Весы». Многое у него не вполне понятно, но какая чуткая душа у этого удивительнейшего по живописности и мягкости художника! Удивительная! — несколько раз повторил Васнецов.— Без души и сердца ныне не может быть художника. А у Мусатова есть и то и другое.

При всей своей сдержанности, внешней замкнутости и скрытности, Васнецов был более теплым, более отзывчивым и душевным, чем многие его сверстники по возрасту и таланту.

Простотой обращения, общей внутренней демократичностью отличались В. И. Суриков и М. В. Нестеров. Они редко показывались в Столешниках, в особенности Суриков. Помню, он приходил сюда в связи с какими-то интересовавшими его вопросами о Степане Разине. Нестеров заходил к Гиляровскому, чтобы поговорить о московских старообрядцах, бытом которых интересовался художник и жизнь которых была во многих подробностях известна писателю. Посещения этих художников оставляли впечатление мимолетности. Они запросто держали себя, запросто беседовали, высказывались по поводу отдельных моментов художественной жизни.

Несколько по-иному держал себя В. Д. Поленов. Видимо, тут сказывались воспитание и обстановка детства и юности, отличные от тех, в которых росли Суриков и Васнецов, не говоря уже о Репине. Поленов был или казался более спокойным, рассудительным, даже величественным. Он всегда с подчеркнутым уважением отзывался о своих друзьях по искусству.

Несколько особняком, как и во всей своей жизни и деятельности, держался Валентин Александрович Серов. Этот великолепный живописец, человек большой внутренней наполненности, баловень московских меценатов, любимейший ученик И. Е. Репина и друг И. С. Остроухова, заходил в Столешники по пути домой, в Ваганьковский переулок. Был он неразговорчивым, внешне угрюмым и молчаливым. Из московских молчальников Серов был, пожалуй, наиболее примечательным. Как-то по Москве, всегда жадно ловившей и смаковавшей всякого рода слухи, пронеслось, что на очередном заседании общества «Свободная эстетика» Серов не произнес ни одного слова — только молча протягивал руку знакомым и не вынимал изо рта папиросу. В Столешниках Серов также был верен себе и нарушал молчание только тогда, когда встречал кого-нибудь из петербургских знакомых. Петербург по-особому притягивал Серова к себе, поскольку в нем жили и творили такие интереснейшие живописцы и люди, как А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, Б. Н. Кустодиев, В. Н. Добужинский, С. П. Дягилев. Рассказы о них Серов всегда слушал с огромным интересом, иногда даже оживлялся и клал недокуренную папиросу на пепельницу.

Серов с напряженным вниманием следил за современной ему живописью. Он был ученик Репина и годился в ученики Васнецову, Сурикову и Поленову. Но по силе и крепости своего таланта, по выразительности кисти, по мощи того, что он делал в искусстве, Серов стоял вровень с этими гигантами русской живописи, был в числе вожаков того нового, что рождалось в живописи.

— Силища! — говорил о Валентине Серове Гиляровский.— Кряжист и зорок, как старый многоопытный богатырь, высматривающий ворогов на сторожевых границах родного искусства.

Эти кряжистые дубы, глубоко ушедшие в землю корнями своих великолепных дарований, были постоянно окружены молодежью, которая начала вливаться в русскую живопись в первые годы нового века.

После каждой ученической выставки в доме Гиляровского появлялись новые молодые художники. Некоторых из них Гиляровский тщательно и заботливо

поощрял, с другими много спорил и серьезно возмущался тем, что они создавали. Неизменен в своих привязанностях Гиляровский был только к тем, в ком видел признаки несомненного дарования. Таких он искренне любил, таким, насколько это было в его силах, до конца жизни помогал. Он никогда не соглашался с ними, если замечал в их произведениях какое-либо отступление от великих основ и традиций реалистического искусства, от заветов его величайших мастеров.

Молодежь заходила в Столешники, чтобы послушать старого писателя, знавшего лично художников, о которых она только слыхала, чтобы узнать его мнение. Гиляровский внимательно выслушивал ораторов, любивших скрещивать словесные мечи, одних убеждал, другим возражал, но неизменно говорил:

— Молодежь во все времена стремится делать все по-своему, без оглядки на вчерашний день. Это, видимо, одно из явлений жизненного процесса, особенно явственного в наше время. Делайте по-своему. Только не забывайте ни на минуту, что до вас работали, творили Репин, Суриков, Васнецов, Левитан, многие прекрасные реалисты из Союза русских художников.

Забывать этих великих людей нашего искусства нельзя. Не подражать им, конечно, но помнить об их делах в искусстве! Это долг всякого настоящего художника.

Когда потухли огни рампы

8.

Среди гостей Столешников были и знаменитые актеры, и театральные плотники, и даже просто переписчики пьес и ролей, ютившиеся в ночлежках Хитровки. «Я был человеком театра»,— сказал о себе в предисловии к своей книге «Люди театра» В. А. Гиляровский. Это действительно так. Не театр, а именно люди театра буквально смолоду и до последних дней жизни привлекали, манили, интересовали Гиляровского. Многие из них отвечали Гиляровскому такой же симпатией и неудержимо тяготели к Столешникам. Они любили посидеть здесь часок-другой за дружеской беседой, за стаканом крепкого чая или бутылкой виноградного вина.

Совсем юным попал Гиляровский в театр. Он был актером на малых ролях, но тесно общался с такими крупнейшими актерами, как М. Н. Ермолова, В. П. Далматов, М. И. Писарев, В. Н. Андреев-Бурлак, А. И. Южин.

Искренние дружеские отношения установились у Гиляровского с А. А. Бренко, много сделавшей для демократизации русского театра. Через нее Гиляровский узнал многих крупнейших деятелей театра, укрепил с ними связи. Были в характере и натуре Гиляровского и какие-то особые черточки, притягивавшие к нему людей театра, заставлявшие их с искреннейшей радостью приветствовать его на улице, за кулисами сцены, в столешниковской квартире.

Как шутили тогда, все пути к московским театрам — Большому, Малому, Корша, Леонтовского, Солодовникова, Интернациональному на Никитской, к циркам, актеров которых страстно любил Гиляровский, к Художественному и Камерному — неизбежно проходили через Столешники. Многие из актеров попадали сюда, по выражению Владимира Алексеевича, волей-неволей.

Столешники и их радушный хозяин пользовались симпатиями не только крупнейших актеров, но и рядовых театральных работников. Любили и всегда приветливо встречали Гиляровского капельдинеры. Некоторые из них охотно угощались из его табакерки. Этому обычаю подражал и остальной технический персонал — плотники, сторожа, осветители, пожарные, оркестранты и даже дежурные полицейские чины. Последние всегда услужливо помогали Гиляровскому пройти в театр во время неимоверного скопления публики, когда объявлялись шаляпинские или собиновские спектакли или спектакли с участием зарубежных гастролеров.

Наиболее долголетние, крепкие и тесные связи были у дяди Гиляя с артистами Малого театра. В значительной мере это объяснялось тем, что Гиляровский с юных лет был связан с Марией Николаевной Ермоловой, дружил со «стариками» — опорой театра — семьей Садовских, О. А. Правдиным, А. П. Ленским и А. И. Южиным, а также с другими актерами этого старейшего московского театра, где бережно хранились традиции М. С. Щепкина, Н. Х. Рыбакова и их могучего литературного вдохновителя — Александра Николаевича Островского.

Наиболее близок к Столешникам был Александр Иванович Сумбатов-Южин. Прекрасный актер и обаятельнейший человек, Сумбатов-Южин часто заходил сюда по пути в театр или обратно домой в Палашевский переулок. Чуть ли не каждодневно Гиляровский и Сумбатов-Южин встречались в литературно-художественном кружке на Большой Дмитровке, где Южин с давних времен директорствовал и пытал счастье за карточным столом. Встречались они и в редакции «Русской мысли», на обедах у В. М. Лаврова, в редакциях других газет и на разного рода литературных



А. И. Южин.

собраниях, постоянно устраиваемых московской художественной общественностью.

Во время посещений Столешников — иногда очень коротких, иногда, особенно после окончания спектакля, продолжительных — Сумбатов-Южин запом-

нился остроумным и порой язвительным, всегда собранным, волевым, хорошо осведомленным в вопросах театра, литературы, во всем, что кровно его интересовало. Он рассыпал верные, тонкие замечания, делился своими наблюдениями, умел точно оценить события художественной жизни. Наиболее пристальный интерес Сумбатова-Южина вызывали, естественно, события театрального сегодняшнего дня или то, что намечалось на завтра. Любопытны были его оценки постановок, игры актеров, анализ их удач и срывов. Много разговоров вызывали постановки Художественного и Малого театров, их «соперничество».

— Антон (Чехов), конечно, хорош, что и говорить,— обращался Гиляровский к Сумбатову-Южину,— он крепко обосновался в театре на Камергерском. Его не сдвинешь с места.

— Да,— соглашался Александр Иванович.— Ни Ибсен, ни Гамсун, ни Гауптман Чехову не страшны. А Косоротов и Карпов тем более!

— Игрой берите, Александр Иванович,— вставляла иногда Марья Ивановна, большей частью молчаливо слушавшая разговоры.— Я уже не говорю про Марию Николаевну (Ермолову), Гликерию Николаевну (Федотову), Ольгу Осиповну (Садовскую), если вспоминать женскую половину вашего театра.

— Молодежь у нас солидная — Яблочкина, Лешковская, и поросль сильная пробивается: Пашенная, Гоголева.

Много разговоров вызвало решение А. П. Ленского изменить курс Малого театра, приспособить текущий репертуар к требованиям современности. Вероятно, немаловажное значение для такого решения Ленского имел все возраставший успех Художественного театра.

Хорошо сохранилось в памяти одно вечернее чаепитие, когда за столом случайно оказались А. И. Сумбатов-Южин и Вл. И. Немирович-Данченко. В жизни это были закадычные друзья, но в искусстве их позиции расходились.

— Не надо браться Александру Павловичу за театрально-административные дела,— сказал Владимир Иванович, поглаживая рукой холеную бороду.— Не его это дело! Сожжет его эта работа, не по нему она.

Он артист и только артист! Преподавание — другое дело! Осуществить реформы в таком десятилетиями слагавшемся организме, как Малый, не под силу, да и надо ли это?

— Да, ты прав, Владимир Иванович,— сказал Сумбатов-Южин. Не один вечер — и у Ленского и у меня — говорили мы на эту тему. Он мне напоминает христианского мученика, решившего пожертвовать жизнью в надежде, что это принесет пользу любимому театру.

— На меня Александр Павлович произвел такое же впечатление,— добавил Гиляровский.— Передо мной был не великолепный актер, а человек, сознательно решившийся принести себя в жертву, человек без малейшей веры в то, что его усилия принесут хоть какую-нибудь пользу.

— Ну и схороним Ленского... Русский театр потеряет превосходного артиста, а мы вернейшего друга, с которым не один десяток лет встречались на подмостках сцены,— сказал Сумбатов-Южин.— А Малый театр останется, как и был, и, я верю, останется таким надолго...

Я глубоко верю,— продолжал Александр Иванович,— что традиции Малого будут жить, потому что основы их заложены Щепкиным, Ермоловой и другими великими мастерами сцены, потому что мы — театр Островского.

В одной из бесед о путях Малого и Художественного театров, очень волновавшую московскую театральную общественность, приняли участие не особенно часто бывавшие в Столешниках В. И. Качалов, И. М. Москвин, В. В. Лужский и А. Л. Вишневский.

— Марья Ивановна,— сказал, входя в столовую, галантнейший и добродушнейший Вишневский, еще с чеховских времен считавшийся здесь своим.— Решили мы пойти поужинать в кружок. Иван Михайлович предложил зайти выпить пива в «Альпийскую розу», а потом уже в кружок. Но, идя через ваш переулок и увидев огни в ваших окнах, мы решили, что Гиляй дома, и вот мы все у ваших ног.

— Самовар на столе, свежие филипповские калачи и сливочное масло тоже, а стакан красного вина уж как-нибудь найдется! Рассаживайтесь, друзья!

Беседа завязалась сразу и быстро сосредоточилась на одной теме — чего ждет Москва от своих театров. Интересно было наблюдать, как каждый из участников беседы высказывал свои взгляды, раскрывая при этом характерные особенности своего театрального дарования. В беседе ярко проявились непосредственность и эмоциональная возбудимость И. М. Москвина, спокойствие и внутренний артистизм натуры В. И. Качалова, жизненная наблюдательность В. В. Лужского, глубокое проникновение в «натуру» исполняемой роли А. Л. Вишневского, его удивительная естественность. Каждый говорил то, что думал и остро чувствовал, каждому, по-видимому, хотелось поделиться мыслями о том, что нужно сделать, чтобы поднять любимый им театр на какие-то новые ступени, открыть перед ним новые возможности.

— Русские люди беседуют,— улыбаясь добродушно и хитровато, сказал Гиляровский.— Хороших слов много, жару хоть отбавляй, а каждый будет играть по-своему!

— Не по-своему, Владимир Алексеевич, а как скажет Константин Сергеевич и посоветует Владимир Иванович,— заметил Качалов.

Такие теплые встречи за столом бывали с артистами Художественного театра задолго до того, как Гиляровский водил всю труппу осматривать трущобы Хитровки. Через много лет К. С. Станиславский ярко описал этот случай в своей книге «Моя жизнь в искусстве», а В. А. Гиляровский — в книге «Люди театра».

Особое оживление бывало в Столешниках, когда приходил Ф. И. Шаляпин, мировая слава которого уже достигла к тому времени наивысшего предела. Красивый, статный, покоряющий не только чисто актерским обаянием, но и исключительной одаренностью, Шаляпин приковывал к себе всеобщее внимание. Несмотря на явное желание держаться как можно проще и обыкновенней, Шаляпин сразу же выделялся, хотя просто произносил самые обыкновенные слова, хотя просто входил в столовую или рабочую комнату Гиляровского, садился или вставал из-за стола, обращался к окружавшим с вопросами. Поражала пластика самых обыкновенных шаляпинских движений.

До бесконечности удивляла способность этого простого волжского мужика проявлять такую гармоничность в движении рук, ног, всей фигуры, поражала бархатистость голоса, покрывавшего гудение общего разговора.

Шаляпин сразу становился центром внимания. Гости Столешников неотступно следили за всем, что он делал и говорил, несмотря на то что рядом с ним буквально рассыпал каскады остроумия и веселья часто его сопровождавший Коровин, сыпал экспромтами дядя Гиляй, вставлял меткие замечания художник С. А. Виноградов, поражал внутренней духовной весомостью Виктор Михайлович Васнецов, рядом были В. А. Серов и С. В. Рахманинов.

Разговоры большей частью велись вокруг театра, литературы. Однажды, кажется по инициативе Сумбатова-Южина, в присутствии Шаляпина завязался разговор о выразительности фразировки, о том, какое значение для смыслового раскрытия сценического образа имеет произношение оперного или драматического актера.

— Важно, как произнести слово, а не спеть его,— заметил Шаляпин, вообще, кажется, не особенно любивший теоретические рассуждения.

Большое впечатление оставляли беседы Шаляпина со знаменитым историком В. О. Ключевским. Лекции, читаемые им в так называемой богословской аудитории Московского университета, будоражили интеллигенцию Москвы, собирали студентов со всех факультетов и даже постороннюю публику. Как почти сто лет назад вся Москва бегала на лекции Т. Н. Грановского, так и теперь можно было услышать: «Хорошо бы попасть на Ключевского». Ключевский читал лекции и в московском Училище живописи, и после них они встречались с Шаляпиным на Мясницкой и шли куда-нибудь попить чайку и побеседовать.

С жадным любопытством, стараясь не проронить ни слова, впитывал Шаляпин все, что говорил Ключевский, следил за движениями маленькой, щуплой фигурки, с жидкой бородкой, в достаточно потертом от времени старомодном сюртуке. Ключевский внимательно смотрел через очки на собеседника, бесстрастно, часто скороговоркой, рассказывал о жизни и

быте людей XVI—XVII веков, приводил такие подробности и такие детали, будто сам их видел.

— Если бы Василий Осипович знал, сколько мне, как художнику сцены, дали беседы с ним, он бы с меня непременно гонорар попросил,— сказал как-то Шаляпин.

— Вероятно, и не малый,— заметил Коровин, не упускавший случая поддразнить Шаляпина.

— Не из твоего кармана, Костя,— шутливо отпарировал Шаляпин.

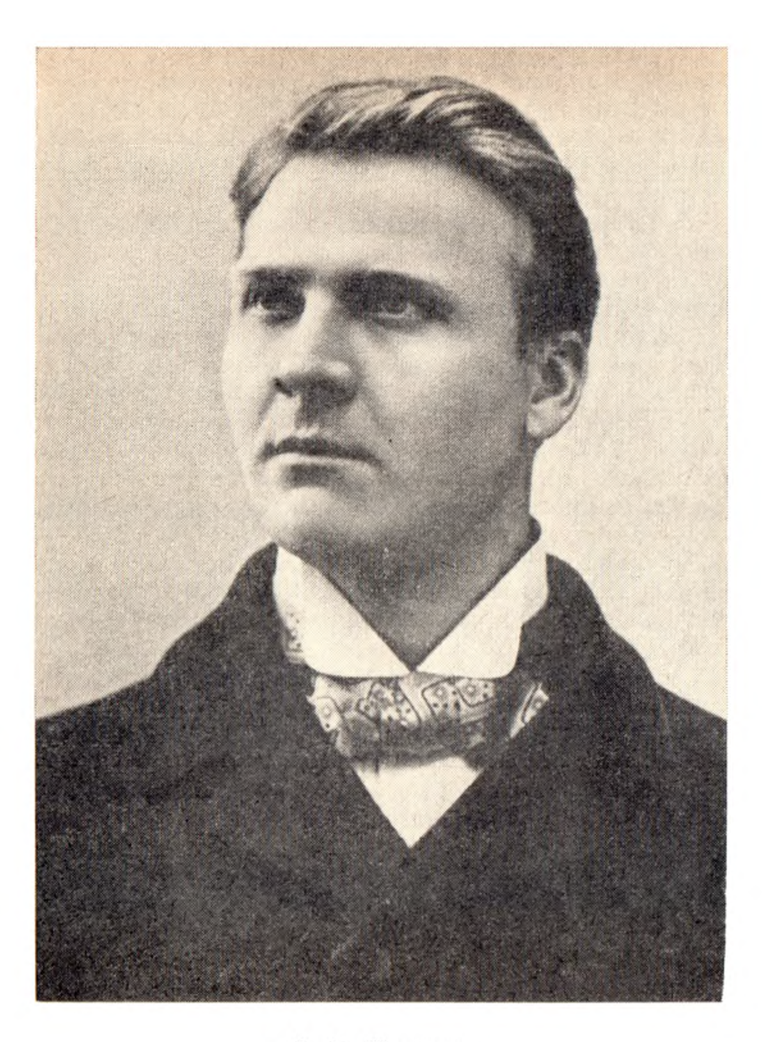
Запомнился один эпизод в Столешниках, вызвавший много искреннего веселья. О нем еще долго рассказывали как о новой роли Шаляпина. Произошло это в день рождения Надежды Владимировны, к которой Шаляпин относился с большой внимательностью за ее «многочитаемость» и «всезнайство» и которой даже иногда присылал первые фиалки из Ниццы, когда бывал там на гастролях.

Народу в Столешниках собралось довольно много. Преобладала университетская молодежь — товарищи Надежды Владимировны по филологическому факультету.

Ужин что-то запаздывал. В большой комнате молодежь шумно веселилась: играли в фанты, шарады; беспорядочно передвигались стулья, раздавались шутливые замечания и отдельные возгласы. В смежной со столовой комнате сидело несколько солидных гостей, в том числе и Шаляпин; остальные были в рабочей комнате хозяина.

Внезапно в квартире раздался собачий вой. Только те, кто подолгу жил зимой в глухих, заброшенных деревнях, могли слышать такой протяжный вой. В московской же квартире, где любили и нежили собак всяческих пород — от огромных сенбернаров до мудрейших пуделей и малюсеньких китайских, жалостный, голодный, за душу хватающий вой казался неожиданным.

На мгновение в квартире все стихло, и все бросились в комнату, откуда раздавался вой. А там около небольшого круглого стола в кресле сидел Шаляпин и, подперши рукой щеку... протяжно выл. Выл по-настоящему, по-собачьи, как воют в бесконечно длинную морозную лунную ночь. Вся фигура Шаляпина,



Ф. И. Шаляпин.

особенно лицо и глаза, выражали грусть, тоску и одиночество.

Затаив дыхание, все следили за исполнением этой, никем еще не виданной новой роли великого артиста.

— Есть очень хочется,— сказал Шаляпин подо-

спевшей Марье Ивановне.— Чего-нибудь пора пропустить,— добавил он, приобретая свое обыкновенное обличье.

— Федя, кончай! — провозгласил появившийся в комнате Гиляровский.— Подогретое красное вино на столе, а горячий окорок сейчас подадут.

— Шаляпина в новой роли видели, радуйтесь,— шутил Коровин.

— Да, в новой! Станешь в новой, когда есть хочется. Музыку для нее написал Коровин, а слова Гиляя,— добродушно произнес Шаляпин, торопливо направляясь в столовую.

— За здоровье Надюши,— бархатисто провозгласил Федор Иванович, покрывая шум голосов.

— И за новую роль Шаляпина,— добавил Коровин,— которую мы едва ли увидим в Большом или Мариинском!

— И не увидишь, Костя! Исполнил только один раз, и не в свой бенефис, а в квартире Гиляя, на празднике Надюши, потому что очень проголодался,— ответил Шаляпин.

Ужин пролетел в приподнятом, оживленном настроении всех присутствовавших, с особенным вниманием к человеку, отмеченному «перстом божьим».

Хочется вспомнить еще одну особенность Шаляпина: он настойчиво подчеркивал, что он русак, волгарь, уроженец волжских берегов, крепко связанный с волжскими просторами, с волжской песней и с чем-то более глубоким, что вдохновляло когда-то Степана Разина в его мечтах о воле родного народа. Иногда в конце простого и обильного ужина звучала «Дубинушка», и Шаляпину дружно подпевали присутствовавшие артисты.

Выражал ли этим Шаляпин особое благоволение к хозяину, которого искренне любил, было ли это данью его детским и юношеским годам, проведенным на просторах Волги, но пристрастия его к Волге явственно ощущались, когда Шаляпин бывал в Столешниках. Часто своим бархатным басом он произносил: «Мы с тобой, Гиляй, как природные волгари...», или: «У нас на Волге, как Гиляй хорошо знает...».

Разговаривая с Гиляровским, Шаляпин как бы со-

вершенно сбрасывал с себя все актерское, как бы забывал, что он артист с мировым именем, и делался простым, обыкновенным, обаятельным человеком. Верилось, что этот большой, статный, светлоглазый волгарь мог легко сгонять плоты, грузить и разгружать баржи, мог даже ушкуйничать, кричать «Сарынь на кичку!», бросать персидских девушек «в набежавшую волну».

— Я, Федор Иванович, иногда это ясно вижу в тебе,— сказал ему как-то дядя Гиляй, выслушав его увлеченный рассказ о широте русского характера.

Иногда Шаляпин заходил в Столешники с друзьями. Наиболее часто бывали с ним молчаливый, по обыкновению, С. В. Рахманинов и также не особенно разговорчивый, добродушнейший С. И. Зимин, организатор частного оперного театра в Москве.

Дружескими отношениями с хозяином Столешников был связан Леонид Витальевич Собинов, по природе большая умница, внутренне очень дисциплинированный человек, обладавший удивительной мягкостью и деликатностью натуры.

Собинов всегда подчеркивал, что Волга, где он впервые услышал теплые, задушевные напевы, научила его петь русские песни.

— Консерватория отшлифовала во мне то, что заронила в душу Волга. В русской песне мне очень хочется покорить слушателя задушевностью,— сказал Собинов, рассказывая о музыкальных собраниях у Керзиных — московских любителей, искренне увлекавшихся музыкой.

Вообще, в Столешниках тема Волги была как бы сквозной. Любо-дорого было видеть, как гости Столешников, может быть, в суете дел и забывавшие, что они уроженцы волжских берегов, вспоминая о Волге, как бы преображались, расцветали, раскрывали какие-то особые стороны своего характера, своей натуры, о которых трудно было догадаться.

Однажды во время вечернего чая Собинов после рассказа об Италии вдруг совершенно неожиданно добавил:

— А вот наши лодочные прогулки в Ярославле по Волге ни с чем, пожалуй, сравниться не могут! Ах, Волга, Волга! Какое счастье, что я родился на ее бере-

гах, что вдыхал ее воздух, ее аромат! Мне иногда кажется, что она и научила меня петь так, как я пою.

— Особенно, вероятно, когда ты поешь Лоэнгрина или Альфреда,— добродушно заметил сидевший рядом с Собиновым бас Большого театра С. Л. Власов.

— Лоэнгрина — не знаю, а Ленского и царя Берендея в «Снегурочке» — может быть,— ответил Собинов и начал вспоминать какие-то очень волновавшие его, видимо, случаи из детских и юношеских лет, проведенных в Ярославле.

— Если бы голос нашего народа обработали в консерваториях, то он, пожалуй, зазвучал бы сильнее итальянского,— заметил как-то Собинов.— Итальянцы поют чудесно, но не те, конечно, которые промышляют этим среди туристов, а те, кого приходилось слышать в тихих итальянских городках, когда они пели только для себя или для своих возлюбленных. Удивительно! Отчеканено, отработано! Каждое слово отделано с таким изумительным совершенством, что диву даешься!

В итальянской песне такая теплота, такая сердечность, что просто порой плакать хочется. Словно она руками за сердце берет. Может быть, это мне так кажется оттого, что я русский, волжанин... Хоть у нас часто можно услыхать: «Поешь мотивно, а слушать противно», но к русской песне, льющейся из души, это никакого отношения не имеет.

— Я уверен,— однажды сказал Собинов,— что если к сердцу и душе нашего народа прикоснется настоящая школа пения, то русская песня зазвучит с такой силой, что не уступит никакой другой.

— И никакие модные, на потребу публики песенки ей угрожать не станут,— вставил Владимир Алексеевич.

— И Вяльцева, и, особенно, Плевицкая, да и хор Славянского не смогут сравниться с настоящей русской песней,— добавил Собинов.

В разговорах о судьбе русской народной песни, которая тревожила всех, участвовали и другие певцы, заходившие на огонек Столешников.

— Волгарь всегда останется волгарем,— сказал после одной из затянувшихся бесед Гиляровский.— Как волгаря ни тереби, как ни потроши, всегда он бу-

дет хранить и бережно лелеять самое лучшее, что есть в нашем народе.

— Да, Владимир Алексеевич. Да, да! — согласился Собинов.

— А как же Ленский, царь Берендей, Левко из «Майской ночи»? — спросила Марья Ивановна.

— В их основе тоже лежит народная песня, душа народа. Без души все наше артистическое мастерство едва ли многого стоит,— сказал с уверенностью и убежденностью Собинов.

— Душа — душой, а без уменья тоже на подмостки театра выходить трудновато,— вставил кто-то из сидевших за столом артистов.

— Без уменья нет рукоделья, а потому всем и всему учиться надо,— улыбаясь, сказал Гиляровский.

— Рукоделье актерское — вещь не простая,— добавил Собинов.

Композитор Юрий Сахновский, грузный, большой человек, хорошо разбиравшийся в вопросах музыкальной художественной культуры, однажды после ухода Собинова сказал:

— Кажется, с того самого момента, как «Евгений Онегин» только начал печататься, он вошел в русскую жизнь, в русскую культуру, в психологию русских людей как ее обязательная, неотъемлемая часть. Он стал частью того, что определяется словом и понятием «национальность».

«Евгений Онегин» — не только энциклопедия русской жизни, но и отражение самой сути характера русского человека. В нем каждый русский видит самого себя, свои помыслы и мечтания. До Собинова были на русской сцене прекрасные вокалисты, но Собинов первый с удивительной лирической проникновенностью показал, что такое Ленский. Собинов как бы раскрыл то целое, что вложили в этот образ гении Пушкина и Чайковского. Публика поняла, что заложено в этом образе Пушкиным, что внесено Чайковским и чему окончательное образное выражение дал Собинов.

После этих вдохновенных слов обычно флегматичного Юрия Сахновского кто-то из присутствовавших добавил:

— Собиновское пение — как соловьиная песня в

хмельную весеннюю ночь. Мало кого не волновали до глубины души колдовские звуки соловьиных ночей, весенние грозы, пьянящая хмарь распускающихся почек, нежнейший аромат ландышей, говор звонких ручьев. Все это против воли и желания врывалось в душу и заколдовывало ее, подчиняло своему обаянию.

В этом волшебстве и вечности вешних чар — талант Собинова. Собинов — это молодость народа. А кто не любит и не вспоминает нежно о своей молодости! Оттого Леонид Витальевич будет дорог всем, кто не забывает своей молодости.

Глубоко запала в память короткая, мимолетная встреча, которую мне пришлось наблюдать в рабочей комнате Гиляровского.

Однажды (это было осенью 1905 года) уже в довольно поздний час у дяди Гиляя сидели Ф. И. Шаляпин, К. А. Коровин, зашедшие, кажется, из Большого театра, и В. Я. Брюсов. В обстановке ночной затихающей Москвы особенно явственно чувствовалась какая-то общая взволнованность и приподнятость.

Шаляпин, который был в русской рубашке навыпуск, как было тогда модно, то вставал, то садился, нервно теребя петли рубашки. Коровин, как всегда улыбчивый и приветливый, то ворошил густые волосы, то нервно вкладывал левую руку в выем жилетки.

Матовое, монгольского типа лицо Брюсова с раскосинкой глаз было малоподвижно, но необычная внимательность взгляда свидетельствовала о его взволнованности. Только, пожалуй, сам Гиляровский казался невозмутимым. Хотя и он чаще, чем обыкновенно, прикладывался к своей табакерке. Разговор на минуту прервался. Его возобновил Шаляпин:

— На Волгу бы теперь махнуть! По заснеженному поземкой льду, с залихватским ямщиком, верст с десяток по речному простору пролететь, чтоб в ушах звенело, дыхание замирало и щеки бы леденели! Вот было бы удовольствие!

— Да, это было бы полезно,— скороговоркой промолвил Коровин, выдернув руку из жилетки. Несколько мгновений помолчав, он добавил: — Может, тройку лошадей в неудержимом полете я и не смогу передать на картине, но хотел бы, не скрою, очень хотел бы на такой тройке промчаться.

— Кстати, Костя,— обратился к нему Шаляпин,— «Снегурочку» ты оформил поразительно: и морозным воздухом в ней дышишь, и ароматом клейкой весенней распустившейся зелени, что дурманит голову, и свежесть ее на пальцах ощущаешь, а вот нашу милую, родную тройку я что-то у тебя не помню? Может, случайно не видел?

— Ее без меня навеки Гоголь запечатлел. Зачем мне с гением соперничать?

— Николай Васильевич — Николаем Васильевичем! Русскому художнику Коровину этой темы коснуться тоже не мешало бы,— заметил Шаляпин.— У вас, Валерий Яковлевич, я тоже стихов о русской тройке не припоминаю, хотя за сборниками вашими слежу.

— Зато Владимир Алексеевич много и очень посвоему писал о тройках,— ответил Брюсов, не меняя выражения лица и только слегка улыбнувшись.

— Гиляю, исколесившему донские степи вдоль и поперек и на тройке и верхом, просто стыдно было бы не написать о наших тройках, не передать восторга от таких поездок,— сказал Коровин.

Тема птицы-тройки была в Столешниках не случайна, она пронизывала многие беседы и разговоры. Трудно сказать, отчего это происходило: от страстного ли увлечения их хозяина Н. В. Гоголем, или от крепкой привязанности дяди Гиляя к лошадям, или от чего-то еще.

Среди артистов, посещавших Столешники, выделялся Василий Иванович Качалов, покорявший зрителей блеском своего огромного дарования и красотой голоса. Приехав из Казани, он вступил в содружество артистов Художественного театра, семимильными шагами двигавшегося к славе.

В то время это был стройный, изящный, необыкновенно обаятельный в обращении молодой артист, кумир молодежи. Но за плечами Качалова были уже «Юлий Цезарь» и «Снегурочка», горьковский Барон и ряд образов в чеховских пьесах, особенно в «Трех сестрах» и «Вишневом саде», которые принесли театру заслуженный успех.

Василий Иванович Качалов пришел в Столешники еще до выступления на сцене Художественного те-

атра. Только что приехав в Москву, он принес Гиляровскому письмо от одного из своих родственников, казанских друзей дяди Гиляя, с просьбой помочь молодому актеру устроиться на новом месте. С этого первого появления в Столешниках — уже тогда он поразил всех особой певучестью своего голоса — Качалов на много лет сохранил теплоту отношений к хозяину Столешников и его семье. Он бывал здесь и тогда, когда занял положение первоклассного драматического актера, покорявшего очарованием своего таланта, способностью перевоплощения, глубиной проникновения в любую из ролей, как бы противоположны они ни были — от Чацкого до Брандта, от Гамлета до персонажей пьес Всеволода Иванова или Константина Тренева.

Одним из удивительнейших свойств качаловского таланта был его неповторимый голос, напевность и музыкальность произношения.

Голос Качалова неизменно производил потрясающее впечатление, независимо от того, был ли он в этот момент Тузенбахом из «Трех сестер», Бабстом из гамсуновской пьесы, героем пьес Ибсена, философствующим Гамлетом или простодушным студентом из «Вишневого сада», ведущим в «Анне Карениной» или в «Воскресении». Было радостью и большим наслаждением слушать голос Качалова — и когда он в комнате Надежды Владимировны читал молодежи отрывки из «Снегурочки» или просто благодарил Марью Ивановну за стакан горячего, крепко заваренного чая.

Именно эта сторона таланта Качалова с особенной непосредственностью и теплотой воспринималась в Столешниках. Именно в силу этого Качалов причислялся здесь к вокалистам, а не драматическим виртуозам.

О таланте Качалова, пожалуй, правильнее сказать, что он не потрясал, а покорял и очаровывал даже в такие моменты, когда на него обрушивались под занавес груды камней в «Брандте» или когда он в «Анатэме» произносил колючие, режущие, достигающие самого сердца слова.

Среди своих друзей и собратьев Качалов вызывал восхищение сочностью и искрометностью русской речи, умелым использованием ее оттенков.

Вл. И. Немирович-Данченко, как-то заглянувший в Столешники вместе с А. И. Сумбатовым-Южиным, сказал:

— Жалко, что среди нас нет современного Владимира Ивановича Даля. Он бы обязательно дополнил словарь русских слов их фонетическим, звуковым, музыкальным значением и показал власть некоторых русских слов, какие с особым смаком и пониманием произносят Качалов и Москвин.

— Ты же писатель, Владимир Иванович,— ответил ему Сумбатов-Южин,— а не только режиссер и хозяин театра. Вот бы и написал если не книгу, то дельную статью по этому вопросу. Тебя тогда увенчали бы званием действительного члена Общества русской словесности, в которое входил Иван Сергеевич Тургенев.

— Лестное замечание, Александр Иванович,— ответил Немирович-Данченко.— Но сейчас я, кроме режиссерских заметок к пьесам, ничего не пишу... Да ведь и ты драматург, Александр Иванович, и ты бы мог такую статью написать.

Неизгладимы остались в памяти вечера, когда Качалов читал А. С. Пушкина, приобретавшего широкую известность Александра Блока, а позднее Сергея Есенина. Особенно запомнились в его исполнении отдельные стихотворения из цикла Блока «Снежная маска» и книги «Земля в снегу» (последняя — с рисунком на обложке Л. Бакста). Они очень высоко ценились молодежью Столешников и дядей Гиляем, который не уставал повторять:

— Какой великолепный поэт! Хоть и издал свою первую книгу в соколовском декадентском «Грифе», но все-таки первоклассный поэт. Не сомневаюсь, что у него все еще впереди! Блок — классик! Сила его отдельных строф равна пушкинской. Вот увидите, он расправит свои поэтические крылья во всю ширь.

Искренне восхищаясь такими великолепными актерами и театральными деятелями, как Г. Н. Федотова и М. Н. Ермолова, А. П. Ленский и А. И. Сумбатов-Южин, Ф. И. Шаляпин и Л. В. Собинов, К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко, В. И. Кача-

лов, А. Л. Вишневский, В. В. Лужский, И. М. Москвин и другие, Гиляровский одновременно живо интересовался театральной молодежью. Молодежь для Гиляровского была постоянным неисчерпаемым источником, где он утолял свою жажду к жизни и людям.

— Не рано ли заботитесь о наследниках, Константин Сергеевич? — спросил как-то Гиляровский Станиславского, зашедшего в Столешники посмотреть фотографию А. П. Чехова, ранее им не виденную. Гиляровский имел в виду студии Станиславского.

— О будущем надо думать смолоду, Владимир Алексеевич,— ответил Станиславский.

— А не очень там вы левите и Щепкина не забываете ли? — осведомился однажды дядя Гиляй у В. Э. Мейерхольда, рассказывавшего ему о том, что делается в студиях. Близкие отношения с Мейерхольдом у Гиляровского установились еще со времен юности, с Пензы.

— Ни правого, ни левого искусства, Владимир Алексеевич, нет,— ответил Мейерхольд,— а есть только живое или отмирающее, не говоря уже о мертвом. В студиях — все живое, а во что вырастет — сказать, конечно, трудно.

— Что делается сегодня, мы можем видеть, а вот что намечается на завтра, за этим надо следить особенно зорко,— говорил не раз Гиляровский, когда касался театральных дел.

Эти дела стали особенно активно вторгаться в жизнь Столешников после того, как Надежда Владимировна посвятила себя изучению театрально-декорационного искусства, которое после Октября приобрело колоссальное значение.

Гиляровский был близок с двумя одареннейшими актерами из Первой студии Художественного театра, помещавшейся тогда в доме Варгина, на бывшей Скобелевской (ныне Советская) площади, Б. М. Сушкевичем и М. А. Чеховым.

Михаила Александровича Чехова — сына Александра Павловича Чехова — дядя Гиляй хорошо знал с ранних лет. С Б. М. Сушкевичем — полным, немного рыхловатым на вид, но внутренне очень собранным и целенаправленным человеком — теплые отношения установились во время деятельности студии в доме

Варгина. Оба актера заходили в Столешники, о чем-то подолгу разговаривали с Гиляровским. Почти всегда участвовала в этих беседах Надежда Владимировна, восторженно относившаяся ко многим начинаниям и мечтам Первой студии.

— Никак не думалось,— сказала как-то навестившая Столешники сестра писателя, Мария Павловна Чехова,— что постоянно казавшийся немного взволнованным и взвинченным Михаил будет таким одаренным и одухотворенным человеком. Отец, Александр Павлович, был такой всегда спокойный и рассудительный.

М. А. Чехов до самого отъезда за рубеж продолжал навещать друга молодости своего отца и подолгу разговаривал с ним о театральных делах, о том, какие сомнения и трудности возникали у него при исполнении той или иной роли. Большой успех и славу выдающегося актера принесли Михаилу Александровичу роли в пьесах А. П. Чехова, А. В. Сухово-Кобылина и других.

Тесная дружба связывала Гиляровского с театральными художниками, сотрудничавшими у мецената и большого любителя театра С. И. Зимина, искренне убежденного в том, что он в полной мере продолжает то, что в свое время начинал в опорном деле другой меценат и восторженный покровитель искусства — С. И. Мамонтов. Долгие годы дружеские отношения связывали Гиляровского и Зимина. Гиляровский относился к Зимину с явным расположением и всегда радовался его начинаниям, служившим на пользу родному искусству.

Дядя Гиляй не раз указывал Зимину на талантливых, многообещающих людей, которых он замечал среди молодежи художественных училищ. Он был постоянным посетителем не только отчетных выставок, но и мастерских в училищах, был связан с преподавательским составом.

Из художественной молодежи, начинавшей свою творческую дорогу в театре щедрого и широкого по натуре московского мецената, частыми посетителями Столешников были Ф. Ф. Федоровский, И. С. Малютин, И. Ф. Федотов, а позднее, уже в послеоктябрьские годы,— П. П. Кончаловский и А. В. Лентулов.

Художники приходили сюда поговорить, посоветоваться, просто посидеть вечерок, часто приносили эскизы оформления готовящихся постановок, рисунки костюмов.

— Удивительное чутье у дяди Гиляя,— сказал однажды Федотов, показав ему эскизы к какой-то классической опере.— Уверен, что он никаких альбомов не видел, но замечания сделал верные. Чутье! В нашем деле чутье имеет важное значение.

— Об этом еще Илья Ефимович говорил,— вставил, случайно услыхав эти слова, Гиляровский.

— Не поняв Грозного изнутри, едва ли я смог бы написать его,— сказал однажды, по словам Гиляровского, Репин.— Даже разбросанные в палате по полу валики от диванов почувствовать и пережить надо, прежде чем написать. В Оружейной палате я ведь их не видал,— сказал однажды Репин, когда разговор зашел об «Иване Грозном».

Много пришлось слышать таких разговоров Владимира Алексеевича и с уже окрепшими театральными художниками, и с только что вступившими на этот путь. Занимательными, острыми бывали споры Гиляровского с уже известным художником Г. Б. Якуловым. Когда полный задора Якулов, вкусивший славы за оформление постановки в Камерном театре у А. И. Таирова, вдохновенно отстаивал свои взгляды на желтое солнце, Гиляровский, ласково улыбаясь, замечал ему:

— Не желтое солнце, Георгий Богданович, а несколько другого оттенка!

Гонцы весны!

9.

Самые различные люди, различные по возрасту и внешности, по внутренней сущности, устремлениям и увлечениям, привычкам и интересам, приходили к радушному хозяину Столешников. Приходили сюда изобретатели каких-то перпетуум-мобилей, летчики, фантазеры и мечтатели, намеревавшиеся дополнить своими изобретениями и открытиями «фантазии» романтика из Калуги — Константина Эдуардовича Циолковского. Но чаще всего бывала в Столешниках молодежь, наполнявшая квартиру дяди Гиляя светлым, живым, радостным, говорливым хороводом. Эта молодежь была полна энергии и настойчивости первооткрывателей, ее переполняли мечты и планы, которые она стремилась осуществить, использовав свои знания и способности. Все они были жизнерадостны и веселы, уверены в себе и порой озорны в поступках, не боялись трудностей и препятствий.

Это были гонцы весны, вернее, постоянной, вечной молодости жизни, и они приносили эту молодость в Столешники.

Приходила сюда литературная молодежь, продолжавшая по мере сил и способностей дело Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Н. С. Лескова, А. П. Чехова, А. М. Горького и других крупных русских писателей. Среди них был

мужиковатый А. И. Куприн, элегантный И. А. Бунин, подчеркнуто сдержанный, не заботившийся о своей внешности Н. Д. Телешов, Леонид Андреев.

Из большой плеяды молодых живописцев, начинавших выставляться в новых художественных объединениях, бывали художники-волгари Павел Варфоломеевич Кузнецов, Петр Саввич Уткин, Александр Иванович Савинов, Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, Александр Терентьевич Матвеев, ходившие под элегантно-интригующим названием членов общества «Голубая роза»; уроженец донских степей Илья Иванович Машков; «ловкий увалень» из Пензы Аристарх Васильевич Лентулов; легкой, уверенной поступью входивший в искусство москвич Петр Петрович Кончаловский; неистовый, темпераментный представитель солнечной Армении Георгий Богданович Якулов; молодые живописцы из Союза русских художников, негласным покровителем которых был М. А. Врубель, и в том числе Абрам Архипов, Станислав Жуковский, Петр Петровичев, Леонард Туржанский.

Художественный «пульс» Столешников во многом определяли артистизм Константина Коровина, суровая сдержанность Валентина Серова, тонкость, даже с оттенком лощености, гостей из Петербурга — А. Н. Бенуа, С. П. Дягилева, С. К. Маковского, индивидуальность волгаря Б. М. Кустодиева, талант И. Э. Грабаря и других.

Но наиболее близкими из молодежи были в Столешниках трое — Александр Михайлович Герасимов, Николай Иванович Морозов и Олег Леонидович Леонидов. Их молодые годы, расцвет их дарований во многом связаны со Столешниками, с Владимиром Алексеевичем Гиляровским.

Во всех русских степях — донских, новороссийских, крымских, сибирских, заволжских, тамбовских, козловских — есть неповторимые особенности. По-разному эти степи цветут, благоухают, по-своему переливаются вешними цветовыми оттенками, даже по-разному, кажется, звенят над ними жаворонки. Есть у каждой степи особенности, позволяющие безошибочно угадать, в какой части родной земли она воль-

готно раскинулась. Так и люди, родившиеся или живущие в степях, обладают чертами, по которым можно быстро и безошибочно угадать, из каких они краев.



Малеевка. Картина А. М. Герасимова.

Александр Герасимов, кажется, до корней волос был насыщен своеобразием козловских, ныне мичуринских, степей, где он родился и вырос. Уже будучи воспитанником московского Училища живописи, он проводил летние месяцы на родной ему и близкой Козловщине.

До старости колесил Александр Герасимов по родным местам, усиленно писал там хорошо знакомые ему дороги, большаки, поля с волнами пшеницы или ржи, веселые подсолнухи.

Появившись в Столешниках как-то неожиданно, Александр Герасимов сразу стал здесь своим человеком.

В этом коренастом юноше с кудрями темных густых волос, в быстрых его движениях, уверенном голосе, громком, раскатистом смехе было много от родных степей Козловщины, от его полей, волнами колышущихся под летним ветром, от пылающих золотом цветущих подсолнухов, от аромата весенних яблоневых садов, от бесконечных, на десятки верст тянущихся вдоль дорог бахчей. От «Сашка́», как звали его дома, и «Саша́», как звали его в московском Училище живописи и одно время в Столешниках, веяло ароматом родных степей.

Александр Герасимов, сын исконного козловского прасола Михаила Семеновича Герасимова, бережно сохранял в своих повадках и манерах этот козлов-

ский привкус, щеголяя в первые годы пребывания в московском Училище живописи красочной кумачовой рубашкой и голенищами кожаных сапожков «бутылками».

Веселый и улыбчивый, остроумный и наблюдательный Александр Михайлович Герасимов приносил в Столешники много простоты, обаяния и очарования.

Гиляровский привел Герасимова в Столешники к обеду прямо с очередной предрождественской ученической выставки. На ней он поразил Гиляровского великолепно переданной красотой козловских мест, убедительностью и силой яркого мазка, приобретенного от любимого учителя — Константина Коровина.

В то время когда началось сближение Герасимова с Гиляровским, вскоре перешедшее в большую дружбу, молодой художник был уже постоянным участником ученических выставок, воспитанником не только К. А. Коровина, но и В. А. Серова.

С момента своего первого посещения и до самых последних лет жизни Герасимов сохранил к Столешникам любовь. Неизменные крепкие дружеские чувства связывали его с Гиляровским, который гордился его успехами и не раз повторял при встречах:

— Ты, Саша,— так до конца своих дней называл Гиляровский Герасимова,— пейзажист, и никогда не забывай этого. Валентин Александрович (Серов) многое тебе приоткрыл в мастерстве портрета, но помни, что ты настоящий пейзажист.

Русский пейзаж — это огромнейшая сила в мировом пейзажном мастерстве, и забывать об этом не имеет права ни один даровитый русский живописец. Ты, Саша, большим даром пейзажиста обладаешь, и ты сохраняй в себе это качество, гордись этим.

И художник, даже в сумятице своих многочисленных дел и обязанностей по Союзу художников, а затем по Академии художеств, старался найти время, чтобы побывать в родных местах, пописать пейзажи.

Герасимов постоянно приносил в Столешники свои работы — и когда был учеником Училища живописи, и когда во время первой мировой войны был

начальником санитарного поезда и мог работать как художник лишь в редкие свободные минуты.

Крепко запечатлелись в памяти летние месяцы, прожитые художником на даче у дяди Гиляя в Малеевке и около станции Тучково, где он много и увлеченно работал над пейзажем. По вечерам, после чая, Герасимов весело и оживленно сражался с хозяином в «карточные короли», заразительно шутил, перекидывался остроумными замечаниями. Вместе с В. А. Гиляровским, О. Л. Леонидовым, Н. И. Морозовым он совершал прогулки по поэтическим окрестностям Малеевки в летние погожие дни.

Шутки, экспромты, остроты лились рекой. Бессознательно происходили какие-то импровизированные состязания в меткости, остроумии, знании родного языка. Первое место в этих непринужденных состязаниях часто оставалось за Герасимовым, который поражал окружающих неистощимой жизнерадостностью.

С неугасавшим жаром тянулся Герасимов к Столешникам.

— Пришел к вам за душевной ванной,— нередко говорил Герасимов, входя в столовую или усаживаясь на стул в кабинете хозяина.

А что было наиболее привлекательно в облике Олега Леонидовича Шиманского — «Олегушки», как его сразу прозвали в Столешниках, Леонидова, как он стал подписывать свои статьи? Он пришел сюда еще гимназистом последнего класса, чтобы прочесть сочиненные им стихи, которые захватили всех необычайной сердечностью, теплотой и чеканкой отдельных строчек.

В Леонидове поражала какая-то внутренняя обаятельность, мягкость, привлекательность. Общение с ним отличалось простотой и легкостью. Столешники стали для Леонидова родным домом, и он там был всегда свой, близкий.

В начальный период газетной деятельности Леонидова большое участие принимал в ней Гиляровский, всегда горячо ратовавший за четкость и предельную точность печатного слова, за оперативность материа-

лов. Работу Леонидова как журналиста всегда отличала качественность материалов, большая осведомленность, хорошее знание и понимание того, о чем надо говорить с читателем.

Олег Леонидович с большой любовью и благодарностью относился к Владимиру Алексеевичу, чутко прислушивался к его советам.

Олег Леонидович и дочь Гиляровского Надежда Владимировна были почти одногодками. Оба любили в часы досуга отдаться стихии лирических вдохновений. С удивительной легкостью создавал Олег Леонидович поэтические строчки своих стихотворений. Только незначительная часть их увидела свет в небольших стихотворных сборниках, а также на полосах еженедельных журналов типа «Вестник Европы». Редактор литературного отдела «Вестника Европы» Д. Н. Овсянико-Куликовский очень поощрял молодого поэта и охотно печатал его произведения. Однако главное внимание молодого литератора было уделено газетной работе.



О. Л. Леонидов.

Чего бы ни касалось перо Леонидова, оно всегда

отличалось поэтической взволнованностью и трепетностью. Описывал ли он утро в Малеевке, где прожил не одно лето, или переводил давно забытого французского поэта прошлого века, в его работе чувствовалась лирическая сущность, легко и свободно выливались строчки, насыщенные подлинным вдохновением, со звонкими и полновесными образными строфами.

Было интересно наблюдать, с какой легкостью и непринужденностью создавал этот даровитый молодой журналист свои статьи для газет, его удивительное умение останавливать внимание читателя на наиболее злободневных событиях и явлениях. Владимир Алексеевич внимательно следил за работой «Олегушки». Вернувшись в Столешники с какого-нибудь заседания, усаживался в уголке столовой и начинал быстро писать в блокноте своим четким, размашистым почерком.

— Только так и надо работать, только так и пишет настоящий журналист,— не раз приходилось слышать от Гиляровского.

Много незабываемых, не тускнеющих от времени подробностей осталось в памяти о том, как Леонидов бывал в Столешниках, как вместе с Морозовым и Гиляровским жил летом на даче. Там они играли в теннис, крокет, купались в Москве-реке, ходили по грибы и на этюды с А. М. Герасимовым, страстно любившим подмосковные места. Они любили посидеть на ступеньках террасы, часами разговаривали, забавлялись с очередной Жучкой, Полканом или Шариком — дворовыми псами, каждое лето появлявшимися здесь.

Довольно часто на бегу заглядывал Леонидов в Столешники и после смерти Владимира Алексеевича. Сидя около его опустевшего рабочего стола, он вспоминал дни своей литературной молодости, вспоминал, как они читали вместе Гоголя, Пушкина, Алексея Толстого, как писались первые газетные статьи и заметки.

— Удивительнейший человек был дядя Гиляй!.. Много он мне, да и многим другим, дал от щедрот своего сердца, много в нем было теплоты! — не раз приходилось слышать от Леонидова.

— Умнющий рязанец, на три аршина под собой сквозь землю видит,— говорила о Николае Ивановиче Морозове Екатерина Яковлевна Суркова. Этот молодой парнишка, попросту Коля, как его называли в Столешниках, ловкий на все руки, готовый всегда помочь, приехал в Москву из Рязанской губернии и был случайно найден Гиляровским в каком-то захудалом третьеразрядном трактирчике в районе Сретенки, где его приучали «к делу», заставляя мыть грязную посуду, разносить чайники с кипятком и т. д. Гиляровский ввел Морозова в круг семьи, усиленно начал таскать с собой по разнообразным газетным делам.



Н. И. Морозов.

Светловолосый шатен с умными глазами, Морозов быстро освоился в Столешниках, которые стали для него родным домом, начал жадно поглощать книги. Он фанатически, неотступно следовал за Гиляровским, был крепко к нему привязан, выполнял его поручения и очень скоро стал числиться его «личным секретарем».

Николай Иванович Морозов быстро сдружился с членами семьи Гиляровского, особенно с дочерью писателя Надюшей, тогда гимназисткой первой женской гимназии на Страстной площади. Он стал в семье нужнейшим, необходимейшим человеком. Стремительный, точный, собранный, он выполнял самые различные поручения Владимира Алексеевича. Николай Иванович всегда был готов сделать то, что нужно было в данный момент Гиляровскому,— ехал по делам в редакции, отправлялся на окраину Москвы для расследования какого-нибудь запутанного события, помогал в беседе с неожиданно вторгшимся посетителем.

Коля Морозов всегда был готов сопровождать Гиляровского. Он никогда не спрашивал: «Куда?», а только говорил: «Я готов!» — и отправлялся с Владимиром Алексеевичем в любую поездку: в подмосковные места для изучения легендарных похождений разбойника Чуркина или для обследования мест, где пронесся страшный ураган 1904 года, на «мокрое» дело на Хитровом рынке, на репетицию в Художественный театр, на беседу с Вл. И. Немировичем-Данченко или с К. С. Станиславским.

Характерной чертой Николая Ивановича Морозова было врожденное уменье подойти к людям, завязать с ними дружеские отношения, понять наиболее определяющие стороны их характера.

Владимир Алексеевич разглядел в Николае Ивановиче Морозове литературное дарование, и тот вскоре после появления в Столешниках начал писать стихи, очерки.

Литературное дарование Морозова особенно окрепло, когда он был призван для отбывания военной службы. Впоследствии впечатления военной службы дали ему материал для целой книги. Морозов много печатался, подписываясь псевдонимом «Н. Столешников», преимущественно в периодике, и быстро стал на самостоятельные «литературные ноги». Гиляровский всячески поощрял и благословлял своего молодого друга, искренне радовался расцвету его способностей. Владимир Алексеевич горячо привязался к Николаю Ивановичу Морозову, который был ему необходим во всякое время дня и даже ночи.

Война 1914 года оторвала Морозова от Столешников, и эта разлука глубоко переживалась обоими. Морозов часто писал с фронта. Владимир Алексеевич внимательно следил за его заметками во фронтовой печати.

— Это мне лишь немного восполняет отсутствие Коли,— говорил часто Гиляровский.

Последние годы, проведенные Морозовым в Москве, около Гиляровского, были годами теснейшей близости этих людей.

В своей небольшой книжечке «Сорок лет с Гиляровским» Морозов рассказал о дружбе с Владимиром Алексеевичем.

Сарынь на кичку. 10.

Сарынь на кичку! — этим возгласом встретил в прихожей Николай Дмитриевич Телешов вышедшего на звонок Гиляровского.

— Сарынь — это наша ватага, Гиляй! А ты, как знаток Поволжья, уж обязательно на кичке или около нее,— добавил Евгений Николаевич Чириков, любивший волжские выражения и понимавший в них толк.

— Мы всей нашей ватагой почти в полном составе. Только главаря и атамана нашего нет — Горького. На берегах Невы он, торопится очередной сборник в набор сдать,— весело продолжал Телешов, входя вместе с остальными пришельцами в комнату.

Только что Федора (Шаляпина) проводили — на репетицию торопился — да к Скирмунту в книжный магазин заглянули. Полюбоваться захотелось, как сборники наши идут, как их разбирает новый покупатель.

Писатели, пришедшие с Телешовым, были в центре внимания тогдашней литературной Москвы. О них писали в литературной хронике, сообщали, над чем они работают, чем собираются радовать читателей.

— Любопытно наблюдать у Скирмунта на Тверской новых читателей. Как они с несвойственным им раньше нетерпением хватают с книжного прилавка зеленые сборники,— блестя глазами, говорил Л. Н. Андреев, одергивая полу своего изящного каф-

тана, в котором он щеголял, как и Шаляпин. («А на мне кафтан лучше сидит, я в нем больше себя чувствую молодым человеком»,— объяснял Андреев.)

— Да, интересно наблюдать нового читателя,— заметил Степан Гаврилович Петров, подписывающийся «С. Скиталец».— Вынимает он желтенький целковый, быстро платит в кассу, берет книгу и кладет в карман. А ведь через час, разрезав страницы книги, незнакомый тебе человек будет читать твой рассказ!

— Главное, что интересно, берут книжку с прилавка, не заглядывая в ее содержание,— добавил Иван Алексеевич Бунин.

— Солидность фирмы, ничего не скажешь. Хорошо себя зарекомендовала. Значит, есть в ней что-то, что привлекает людей,— сказал Александр Серафимович Попов.

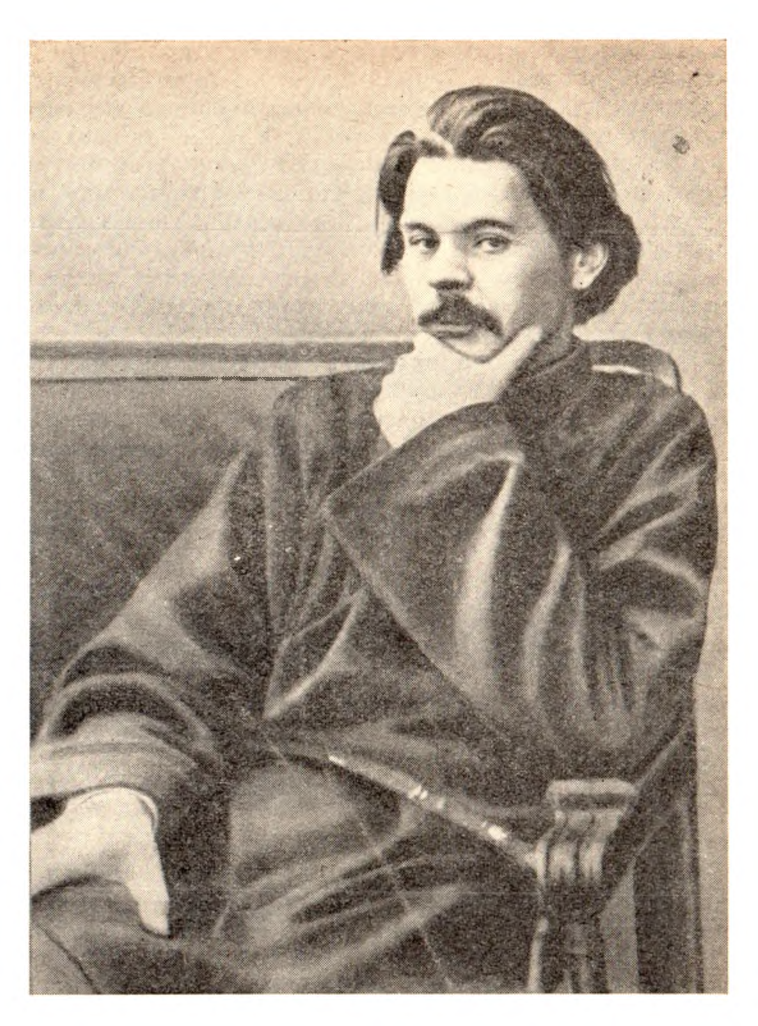
— Новая эпоха требует новых писателей,— глуховатым голосом, тряхнув неловко своей длинной, пышной шевелюрой, добавил С. Г. Скиталец.— Со всех сторон Москва стягивает писателей под державную руку Алексея Максимовича.

— Не Алексея Максимовича рука нас тянет, а Москва в кулак собирает,— заметил Гиляровский.

— Да, всех нас поднимает и расшевеливает пятый год,— произнес кто-то из пришедших.— Новая литература должна строиться и создаваться новыми писателями. Недаром весенние ветры революции так безудержно всю нашу матушку-Русь всколыхнули.

— Не напрасно к нам тянется Федор Иванович (Шаляпин). Его не только талантливость нашей ватаги привлекает. Он великолепно чувствует, что в нашей «среде» настоящим русским духом пахнет. Крепко мы все им начинены,— сказал, усаживаясь поудобнее, Телешов.

Действительно, мы ватага. Не потому, что молоды, не потому, что излишне дерзки и собрались все в Москве и Питере с широкой Волги, с Днепра и Тихого Дона. А потому, что мы рождены новым временем, новой эпохой, разбудившей от многолетней обломовщины и спячки русских людей. Медленно, конечно, мы ворочаемся. Сразу не знаем, за что взять-



А. М. Горький.

ся, но понять — поняли, что ворочаться всем надо. Без этого смерть.

«Сарынь на кичку!» — этот возглас стал для нас призывом к действию.

От всех, кто пришел в этот вечер в Столешники, веяло молодостью, энергией. Это ясно чувствовалось

в каждом: и в привлекательной лепке лба Л. Н. Андреева с матовым оттенком кожи, в копне его непослушных волос, и в проницательном блеске выразительных глаз и интеллигентности Е. Н. Чирикова, и в движениях С. Г. Скитальца с его грузноватой фигурой и подчеркнутым пренебрежением к внешности, и в казацком обличии А. Серафимовича, и в худощавости фигуры Ивана Алексеевича Бунина, с его несколько замедленными, как бы стесненными движениями, отличающегося природной наблюдательностью, пытливостью и зоркостью глаз.

Больше всех привлекала к себе внешность Н. Д. Телешова. Высокий, статный, с сильными движениями, уверенным голосом, приветливыми огоньками в добрых глазах, Телешов казался вожаком пришедшей ватаги, хотя по сравнению с другими писал гораздо меньше. Чувствовалось, что он один из тех, кто вдохновлял собиравшихся у него по «средам» писателей.

Каждый выпуск сборников в зеленоватой обложке вызывал большой интерес у читателей, знаменовал собой очередной успех нового периода русской литературы. В этих небольших рублевых книжках распускали свои крылья и начинали парить в литературном поднебесье новые даровитые имена; они приносили с собой новые темы, новые образы.

— Мы теперь «знаньевцы», большая сила! Молодой весны гонцы!

— Но не рериховские гонцы, что на утлых лодчонках к незнакомому городу подбираются. Мы уже не подбираемся, а подобрались и атакуем,— резко отчеканил С. Г. Скиталец.

— Мы в схватке! Недаром на нас враги зубы точат. Зубами щелкают, а поделать ничего не могут! Разве только «подмаксимками» окрестят,— сказал Андреев.— Верно говорю я, Гиляй? — обратился он к Гиляровскому.

— Верно, Леонид Николаевич. Помнишь, какой у нас разговор в кабинете после чтения «Красного смеха» возник?

— Красным смехом мы еще посмеемся, Гиляй, когда его в сборниках глотать начнем,— сказал с большой внутренней уверенностью Андреев.

— Прав я был тогда, Леонид? — спросил Гиляровский.

— Безусловно, прав! Жизнь тебя оправдала!

— Теперь наши рублевые сборники — своеобразные паспорта на право входа в настоящую литературу.

— Когда видишь в вагоне железной дороги или на палубе парохода человека с такой книжкой в руках, безошибочно можно определить, что это за человек и чем дышит, какая ему нужна духовная пища,— заметил Бунин.— Это читатель новой России, вскормленный и вспоенный нашим временем.

Хотел ли этого или не хотел, но Алексей Горький нас настойчиво подбивает на определенные литературные цели.

— И он достиг их, достиг. Результаты налицо. Бесспорным подтверждением служат наши книжные магазины,— убежденно проговорил Скиталец.

— Даже звуков твоей бандуры для подтверждения этого не потребуется,— заметил Чириков.

— Удивительнейшее горьковское чутье здесь проявилось,— продолжал Скиталец.— Алексей, может быть даже в ущерб своей авторской популярности, так энергично заботится о сборниках, старается, чтобы они выходили насыщеннее, чаще, тщательно подбирает каждый сборник. Материал к нему так и плывет, но в этом весеннем бурном паводке он умеет отобрать и найти то, что на сегодня особенно нужно.

Через то, что Алексей печатает в сборниках, обнажаются основы того, чего мы, вероятно, хорошенько еще и не разглядели. Главное, все делается тихо, с полнейшим внешним благолепием. «Страна отцов», например,— тишайшее произведение очень тихого на вид С. И. Гусева-Оренбургского. А какое сильнейшее впечатление оставляет! А ведь на первый взгляд скромное бытовое повествование.

Замечательно еще и другое. Это тоже надо отнести к прозорливости Алексея. Кто не поленится пересмотреть наши сборники, для того станет очевидным, как создается новый период нашей литературы, как входят в нее новые имена. Алексей смело, верной рукой вводит в литературу новые таланты, а многих уже прочно ввел в ее будущую историю.

— Не будем заглядывать в завтрашний день — Гиляй это не особенно любит. Ему дорог и сегодняшний день,— сказал с улыбкой Бунин.

— Все верят, что сборники «Знание» — доброкачественный и нужнейший материал, и пусть они выходят чаще и полнее,— добавил Гиляровский.

— Мы, «знаньевцы», конечно, на повороте. И ничто не заставит нас свернуть с нашей дороги, мы верой и правдой служим своему народу, говорим ему прямо, со всем пылом молодой души о том, что считаем правдой, чем живем и во что верим! — добавил Чириков.

— Антон Павлович при мне,— заметил Бунин,— в своем ялтинском домике несколько раз повторил, что будет обязательно сотрудничать в наших сборниках, которые он горячо приветствует.

Долго, очень долго длилась беседа «знаньевцев», заглянувших в Столешники.

СОДЕРЖАНИЕ

Лобанов Виктор Михайлович

СТОЛЕШНИКИ ДЯДИ ГИЛЯЯ

М., «Московский рабочий», 1972

184 с. 8(069)

Редактор *Л. Крекшина*

Художник *Е. Ганнушкин*

Художественный редактор *А. Титова*

Технический редактор *М. Шлык*

Издательство «Московский рабочий»,
Москва, ул. Куйбышева, 21.

Л83633. Подписано к печати 13/IX 1972 г. Формат бумаги 84 × 108¹/₃₂. Бум. л. 2,88. Печ. л. 9,66. Уч.-изд. л. 8,76. Тираж 75 000. Тем. план 1972 г. № 166. Цена 67 коп. Зак. № 1276.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.


67 коп.
МР